



ИНСТИТУТ
НАСЛЕДИЯ

С. Ф. Черняховский

НАСЛЕДОВАНИЕ БУДУЩЕГО

В ПОЛИТИКО-
КУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ
XXI СТОЛЕТИЯ



МОСКВА
2023

ПЕТРУ ПЕРВОМУ
ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ
ЛЮБА 1723

Министерство культуры Российской Федерации
Российский научно-исследовательский институт культурного
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва

С. Ф. Черняховский

**НАСЛЕДОВАНИЕ БУДУЩЕГО
В ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ XXI СТОЛЕТИЯ**

Москва
2023

УДК 008:14
ББК 66,05
Ч-49

Издается по решению Ученого совета Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва

Рецензенты:

МАЗИН Константин Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и организации архивного дела Историко-архивного Института РГГУ;

МИХАЙЛОВ Родион Владимирович, кандидат политических наук, главный редактор альманаха «Тетради по консерватизму»;

ШАБРОВ Олег Федорович, доктор политических наук, профессор кафедры государственного управления факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Президент Академии политической науки

Автор:

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Сергей Феликсович, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Черняховский С. Ф.

Ч-49 **Наследование будущего в политико-культурном пространстве России XXI столетия** [текст]: монография [Электронное сетевое издание] / С. Ф. Черняховский; отв. ред. С. Ф. Черняховский. — М. : Институт Наследия, 2023. — 250 с. — DOI 10.34685/НИ.2023.93.87.004. — ISBN 978-5-86443-420-8.

Монография посвящена несводимости феномена наследования к однозначно выделяемым чертам прошлого, равно как несводимого к наследованию всего багажа прошлого, которое само рассматривается выступающим и в роли системного прошлого, и в роли суммы своего собственного прошлого и своего альтернативно конструируемого будущего, расходящегося и с сегодняшним настоящим, и с сегодняшними конструктами будущего. По мысли автора, прошлое, как любая система, состоит из его системы производства базовых латентных образцов, целеполагания и целедостижения, интеграции и адаптации. Сам процесс наследования оказывается наследованием создаваемых сознанием прошлого идеальных политических конструктов опережающего будущего, осуществляемым субъективированной альтернативностью, переводящей принятое наследие в настоящее и будущее. Разбираются черты, обеспечивающие завершённую субъектность такому альтернативному конструкту.

Отмечается, что трагедии деструкции социума происходят в том случае, когда существующий деятельностный субъект наследования оказывается не способен осуществлять наследование элементов прошлого, обеспечивавших его способность к преобразующему развитию.

Издание подготовлено в рамках выполнения государственного задания ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» по теме 4.21 «Концепт “политическая культура” и проблемы и практики “наследования будущего” в политико-культурном пространстве России XXI столетия».

УДК 008:14
ББК 66,05

ISBN 978-5-86443-420-8

© Черняховский С. Ф., 2023
© Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 2023

Оглавление

Введение	6
<i>Глава 1</i>	
<i>Теоретические основания исследования феномена наследования будущего</i>	
1.1. Теоретические основания исследования феномена альтернативности	16
1.1.1. Политическая альтернативность как система.....	17
1.1.2. Критерии завершенности альтернативной субъектности.....	25
1.1.3. Типы системности альтернативности.....	33
1.2. Теоретические основания исследования феномена субъекта альтернативности (субъектность наследования альтернативности)	41
1.2.1. Субъектность наследования в системе опережающей альтернативности	41
1.2.2. Наследующая субъектность как продукт раскола	50
1.2.3. Субъект альтернативного наследования и поле стихийной альтернативности.....	57
1.3. Деятельностные аспекты наследуемого конструирования.....	66
1.3.1. Альтернативность versus беспроектность	66
1.3.2. Большая и малая семья в наследовании будущего	73
1.3.3. Политическая инженерия субъектности альтернативного конструирования	79

Глава 2

<i>Рубеж запроса на опережающую альтернативность</i>	89
2.1. Нереализованная альтернативность будущего	89
2.2. Специфика позднесовестного социально-политического темперамента versus требования наследования будущего	98
2.3. Неприятие радикализма как специфическая черта субъективации наследования будущего в современной России	111

Глава 3

Вызовы и самоопределение наследования.

<i>Рубеж решения</i>	123
3.1. Чернобыль. Принятый вызов	125
3.2. Евразийство и европеизм: полемика невнятных	129
3.3. Культура и Инферно	141
3.4. Перенос социального идеала в историческое прошлое.....	145
3.5. Рождаемость и цивилизованность	157

Глава 4

<i>Плацдармы наследуемого</i>	163
4.1. Космический прорыв как плацдарм альтернативности	166
4.2. Искусственный интеллект: плацдарм будущего или отказ от человечности	170
4.3. Будущее из прошлого: COVID-19 и Порог Синед Роба.....	179
4.4. Зоны высоких технологий как зоны политического проектирования новой эпохи.....	185

Глава 5

<i>Наследование опережения</i>	197
5.1. Эпоха изломов постоянства.....	198
5.2. Петр и наследование	204
5.3. Проблема расширенного наследования.....	214
5.4. Наследование опережения прошлого.....	221
5.5. Мобилизация как наследование и наследование как целеполагание.....	223
5.6. Ценности, смыслы и Барьер Синед Роба	226
5.7. Второе наследование.....	235
<i>Заключение</i>	245

Введение

Изначально политическое сознание общества обладает свойством идеального политического конструирования: т. е., наблюдая и осмысливая окружающую действительность, политическое сознание вычленяет из наличной данности ее идеальную конструктивность, то, какой она либо могла бы быть, либо какой она воспринимается сознанием как желательная и возможная.

Последнее представляет две стороны и во многом два этапа подобной идеальной альтернативности: этап, когда наличная практика и коллективный опыт убеждают человека в детерминированности этой действительности, подлежащей изменению только началом трансцендентного демиуржества, и более поздний этап, когда человеческая практика и опыт дают основание говорить о принципиальной возможности для социума менять окружающий его мир и существующую реальность при выходе за рамки детерминированности.

Рубежом, отделяющим эти этапы друг от друга, можно обоснованно видеть исторический момент, когда мореходы открывают феномен хождения под парусами против ветра, а астрономы приходят к выводу о гелиоцентрическом строении мира. То, что мы можем назвать Колумбово-Коперниковой эпохой, рождает Новое время, даже не в смысле собственно модерна, а в смысле появления меняльного и интеллектуального состояния политического сознания человека и общества, на смену подчинению себя безусловному авторитету трансцендентного и регулированию жизни заданными ценностями приходит состояние уверенности в своем праве и способности ставить цели изменения мира, преобразования его в соответствии с создаваемыми политическим сознанием идеальными альтернативными конструкциями.

И если само будущее состояние человека и общества рассматривалось как предопределенное трансцендентом и зависящее в лучшем случае от правил, ценностей, установленных

этим трансцендентом и его институтами, то теперь будущее представляется субъекту социального действия как зависящее от действия, определяемого его идеальной альтернативистикой.

Таким образом, любое время, как и любое прошлое, включает в себя как свое собственное прошлое, свое собственное настоящее, так и свое собственное будущее, имея в виду под последним даже не столько то реальное будущее, которое наступило вслед за прошлым, но то идеальное будущее, которое существовало в конкретном прошлом в качестве представлений его политического сознания об альтернативно желаемом как идеальном конструкте, противостоящем и оппонирующем «тому» прошлому.

Отсюда сам феномен наследия, созданного в прошлом, включает в себя не только его материальные и нематериальные артефакты в обычном их понимании, но его альтернативистику и мотивирующие поступки желания будущего.

Наследуя прошлое, мы наследуем и его в том числе несбывшееся будущее.

Это наследование осуществляется как минимум в двух пластах: стихийном и сознательном. Стихийно наследуется то, что осталось несбывшимся и воспринимается как несбывшееся, но смутно сожалемое. Сознательно наследуется то, что воспринимается как почему-либо неосуществленное, но привлекающее интерес, как возможно доступное осуществлению: наследуются история и память, но наследуются и мечты и стремления, наследуется их неосуществленность, но наследуется и предположение, что в принципе они, возможно, осуществимы.

Таким образом, созданное в конкретное время альтернативное нынешнему представление о будущем не только выступает оппонентом своего времени, но, когда это время уходит, оно наследуется в определенной мере как оппонирующее уже налично данному настоящему.

Здесь встает вопрос о том, можно ли наследование в том или ином виде отнести к традиции, но проблема именно в том,

что понимание традиции оказывается разнопланово: в том смысле, что из прошлого наследуется нечто, и в этом плане прошлое продолжается — это можно считать традицией, если видеть в ней в целом то, что нечто продолжается и сегодня. Но все-таки остается разница, наследуется ли то, что было в прошлом, его настоящим или отрицающим это прошлое настоящее прошлым будущим¹.

То есть будущее — всегда альтернатива, всегда идеальный конструкт как оппонент и своего настоящего, но и оппонент родившегося из него налично данного будущего.

При этом наследование будущего, идеально-альтернативно сконструированного прошлым, — это в итоге наследование несостоявшегося будущего, и оно предполагает минимум два контекста этого наследования.

В общем, оно предполагает включение этого несостоявшегося будущего в свои и сегодняшние действия и мотивы, и включение его уже и в сегодняшнее идеальное конструирование альтернативы. Или, как достаточно точно можно повторить вслед за авторами монографии «Идеология русской государственности. Континент Россия»: «...Минувшее никуда не делось — оно продолжает существовать в настоящем, как основание и неотъемлемое условие нашей жизни, как рамки, в которых мы действуем сейчас»². Если мы говорим о сегодняшнем настоящем как различающегося со вчерашней альтернативой вчерашнему настоящему, мы принимаем эту ранее рожденную и несостоявшуюся альтернативу либо как возможно осуществимую, т. е. в той или иной степени сохраняющую свою актуальность,

¹ Как пишет И. Дискин: «...В рамках “веберовской” модели ключевым “экзогенным фактором” социальной трансформации выступают перемены в структуре ценностей, распад ценностей традиционных, постепенный рост влияния партикулярных...». — См. : Консервативная модернизация: монография / И. Дискин. — М. : Политическая энциклопедия, 2021. — С. 147.

² Идеология русской государственности. Континент Россия / Т. Сергейцов, Д. Куликов, П. Мостовой. — СПб. : Питер, 2020. — С. 11.

либо как не только неосуществленную, но и неосуществимую. Что и является в первом случае наследованием позитивным, а во втором — негативным.

Позитивное и негативное наследование здесь выступает не в оценочном, а в функциональном качестве данных определений, т. е. представляет оппозирующие начала со своей определенной субъектностью.

То есть мы имеем следующие парные начала наследования будущего:

1. Принятие его как возможного для осуществления либо как потенциально неосуществимого.

2. Признание его ценностным и желаемым к идеальному осуществлению либо как нежелательного и требующего противодействия.

3. Ощущение наследуемой альтернативности как достаточной для мотивации личного действия — либо недостаточной для такой мотивации.

Строго говоря, о наследовании мы можем говорить тогда, когда созданная в прошлом опережающая идеально альтернативная конструкция так или иначе становится элементом мотивации сегодняшнего действия, но дело в том, что в той или иной степени таким элементом она в потенциале становится всегда, поскольку каждое время создает свою идеальную альтернативную конструкцию, а сама эта конструкция либо отрицает и отвергает наследуемую альтернативу, либо ее настойчиво воспроизводит, либо, приняв в основе, пусть и не воспроизводит, но развивает.

Причем даже если нынешняя альтернатива отвергает и отрицает прошлую, она и тогда осуществляет механизм наследования, подтверждая альтернативность уже самой себе, т. е. оказывается вынуждена оппонировать двум началам: налично данному, которое она предлагает заменить на свой конструкт, и невольно наследуемому, которое также становится претензией на альтернативу им обоим.

Утверждение в мире и в жизни может происходить через изменение и улучшение мира, а может через подчинение ему и капитуляцию перед жизненными обстоятельствами.

Однако ситуация победы над миром и обстоятельствами имеет два формата: формат сохранения базовых ценностей и исторической самоидентификации общества в новой форме, как это произошло после революционных преобразований в России начала XX века, и формат разрушения общества и исторической самоидентификации, как это произошло в ходе катастрофы конца XX столетия. Здесь имеет смысл обратить внимание на положение коллективной монографии под редакцией Б. Макаренко, отмечающей неоднородность и многообразие понятий самого консерватизма, т. е. сохранения и принятия из прошлого: «На протяжении десятилетий “консервативными” назывались самые несхожие идеологические и политические течения»³.

Соответственно, мы, таким образом, получаем следующие комбинации установок и алгоритмов утверждения альтернативной идеальной конструкции в жизни:

1. Утверждение альтернативности:
 - а) при сохранении человечности;
 - б) достижении изменения мира;
 - в) одновременном сохранении базовых латентных образцов.
2. Утверждение альтернативности:
 - а) при сохранении человечности;
 - б) достижении изменения мира;
 - в) утрате самоидентификации и разрушении базовых латентных образцов.
3. Утверждение альтернативности:
 - а) при сохранении человечности;
 - б) подчинении диктату окружающего мира;

³ Консерватизм и развитие. Основы общественного согласия / под ред. Б. И. Макаренко. — М. : Альпина-Паблицер, 2015. — С. 15.

- в) одновременном сохранении базовых латентных образцов мира.
- 4. Утверждение альтернативности:
 - а) при сохранении человечности;
 - б) подчинении диктату окружающего мира;
 - в) утрате самоидентификации и разрушении базовых латентных образцов.
- 5. Утверждение альтернативности:
 - а) при утрате человечности;
 - б) подчинении диктату окружающего мира;
 - в) утрате самоидентификации и разрушении базовых латентных образцов.
- 6. Утверждение альтернативности:
 - а) при утрате человечности;
 - б) достижении изменения мира;
 - в) утрате самоидентификации и разрушении базовых латентных образцов.
- 7. Утверждение альтернативности:
 - а) при утрате человечности;
 - б) подчинении диктату окружающего мира;
 - в) одновременном сохранении базовых латентных образцов мира.
- 8. Утверждение альтернативности:
 - а) при утрате человечности;
 - б) подчинении диктату окружающего мира;
 - в) утрате самоидентификации и разрушении базовых латентных образцов.
- 9. Варианты недостигнутого утверждения альтернативности, которые могут быть также дифференцированы в зависимости от того, удалось ли при этом субъекту утверждения сохранить человечность и сохранены либо разрушены базовые латентные образцы и самоидентификация общества.

Естественно, что для транслирования и воспроизводства в ходе позитивного наследования для общества приоритетен первый вариант: Утверждение альтернативности при сохранении

человечности — достижении изменения мира и при одновременном сохранении базовых латентных образцов.

Причем очень спорной выглядела бы попытка свести выбор этих альтернатив и определяемых ими политических культур принадлежностью к тому или иному культурно-историческому типу, тем более к предложенному Н. Я. Данилевским противопоставлению славянского и германо-романского культурно-исторических типов⁴.

Однако эта приоритетность имеет ограничения и утрачивает ценность при двух обстоятельствах: утрате человечности и разрушении базовых латентных образцов и ценностей общества, что сущностно различается выделяемыми Н. Я. Данилевским форматами определения через членение на деятельность религиозную, культурную, политическую и социально-экономическую⁵.

При этом нужно обратить внимание и на еще одну дилемму, значимую для вписывания в нее производимых и воспроизводимых латентных образцов и реализации наследования альтернативности: проблема выбора между обществом и ценностями общества потребления либо обществом и ценностями общества познания и созидания.

С одной стороны, это означает выбор утверждения в потреблении — или выбор утверждения в познании и созидании.

И тогда и варианты победы над миром, и варианты сохранения либо разрушения базовых образцов разделяются, разделяясь на ситуации победы человека-созидателя над миром потребления либо победы человека-потребителя над обществом созидания, как это произошло в России на рубеже 1980–1990 и в конце 1990-х гг.

⁴ Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. — СПб. : Издательство СПбГУ, 1995. — С. 399–404.

⁵ Там же. — С. 400.

И одновременно ситуация разрушения либо сохранения базовых латентных образцов меняется, если речь идет об альтернативе разрушения образцов потребительского общества либо разрушения латентных образцов общества познания.

Четвертая — проблема методики передачи и утверждения выделенного образца.

Выявленный в том или ином произведении базовый образец и поведенческая установка не оказываются непосредственно воспроизведены при знакомстве объекта воздействия с содержащим объект произведением.

И здесь возникает обозначенный выше вопрос черт привлекательности.

Представленные в таблице пары позволяют сконструировать следующие комбинации привлекательности:

1. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при созвучности идеалам субъекта ознакомления;
 - б) доступности языка;
 - в) содействии пониманию и осмыслению сложности мира.
2. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при созвучности идеалам субъекта ознакомления;
 - б) доступности языка;
 - в) примитивизации понимания мира.
3. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при созвучности идеалам субъекта ознакомления;
 - б) отторжении языка;
 - в) содействии пониманию и осмыслению сложности мира.
4. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при созвучности идеалам субъекта ознакомления;
 - б) доступности языка;
 - в) содействии пониманию и осмыслению сложности мира.

5. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при созвучности идеалам субъекта ознакомления;
 - б) отторжении языка;
 - в) примитивизации понимания и осмысления мира.
6. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при отторжении идеалов произведения субъектом ознакомления;
 - б) отторжении языка;
 - в) примитивизации понимания и осмысления мира.
7. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при отторжении идеалов произведения субъектом ознакомления;
 - б) доступности языка;
 - в) примитивизации понимания и осмысления мира.
8. Увлечательность и азартность сюжета:
 - а) при отторжении идеалов произведения субъектом ознакомления;
 - б) отторжении языка;
 - в) содействии пониманию и осмыслению сложности мира.
9. Варианты непривлекательности и отсутствия азарта сюжета.

Желательна первая ситуация, причем в целевом плане приоритетно обеспечение понимания сложности мира: если его удается достичь, отторгаемы варианты примитивизации.

Но, как и в случае с классификацией проблематики, доминирующим является характер воспринимаемых идеалов в диапазоне идеалов общества потребления либо общества познания — собственно, именно поэтому приоритетным признается содействие углублению понимания и осмысления мира как элемент познания и утверждения ценности познания.

При этом вопрос наследования будущего в своей реализации предполагает разную степень ее осуществления. По сути, в полной мере о наследовании можно говорить, когда прошлая

идеальная альтернативная конструкция, воспринятая как потенциально возможная для осуществления, оказывается сознательно или неосознанно воспринята системой воспроизводства базовых латентных образцов, но оказывает определяющее воздействие на функцию целеполагания системы. Наполнение ею функций интеграции и адаптации также имеет значение, но относительно вторичное и ограниченное: с одной стороны, при возникновении разрыва между ориентированными на нее произведенными латентными образцами и целеполаганием, с одной стороны, и интеграцией, а тем более системой адаптации, оказывается, что ценности и цели оторваны от организационной и оперативной составляющей. С другой стороны, если установки интеграции и адаптации сведены к жесткому воспроизводству наследуемой идеальной альтернативы, они, лишаясь организационной и оперативной гибкости, оказываются способны объединить лишь те сегменты общества, которые уже наследовали принятие данной альтернативы, и также оказываются способны к адаптации в среде, по сути, адаптации уже не требующей.

Но, во всяком случае, можно сказать, что наследование прошлой идеальной альтернативы может оказаться как наследованием ее в качестве по факту принимаемой базовой ценности, не переходящей в целевую установку, но оказывающей на нее латентное воздействие, так и наследованием ее в качестве целеполагания. И здесь оказывается важно, это целеполагание принято на основании аналогично наследуемой базовой ценности, — т.е. целью оказывается достижение сущностного содержания унаследованной цели, — или лишь в качестве самой по себе прежней целевой установки без ее ценностного наполнения либо с произвольным наполнением, и тогда речь идет, скорее, о наследовании в лучшем случае обрядовости, музеефикации прошлого, воспринимаемого в настоящем как мемориальный артефакт, предполагающий почитание, но не включаемый в практики социально-преобразующей деятельности.

Глава 1

Теоретические основания исследования феномена наследования будущего

Наследование будущего представляет собой феномен в силу того, что оно не очевидно, в противоположность тому, что обычно и с очевидностью под наследием понимается сохранение и принятие достижений и богатств прошлого. Но прошлое, как наличная данность, в своем сознании с неизбежностью оценивает само себя и выстраивает свое желаемое — то, что было бы альтернативно ему как существующему. Причем выстраивает его как идеальный политический альтернативный конструкт, опережающий в желании себя самого как существующую реальность. Таким образом, оказывается, что наследование будущего есть наследование созданных прошлым альтернатив.

Создаваемая прошлым альтернативность, выступающая как идеальное целеполагание своего времени и в этом отношении являясь исполнением системной функции прошлого, сама может быть рассмотрена как система.

1.1. Теоретические основания исследования феномена альтернативности

Богатая традиция исследования политической альтернативности как одной из важнейших составных поля политических самоопределений восходит минимум к XVIII столетию, когда в основном начинают складываться представления о ныне утвердившихся неавторитарных системах, идеи политического представительства народа и соревновательности политических сил.

При этом альтернативность рассматривается в основном как часть системы власти, представляющая альтернативу (той или иной степени масштабности) осуществляемому властному

курсу и, соответственно, в значительной степени как категория, парная категории «доминирование».

Это предполагает наличие системных характеристик у самой альтернативности, в данном случае не в смысле «внесистемности», а как относительно самостоятельного начала, к которому могут быть применены те же подходы системного анализа, что и к политике в целом.

1.1.1. Политическая альтернативность как система

Рассматривая власть как макросоциальную систему в известной AGIL-схеме Т. Парсонса, мы можем увидеть, что все четыре компонента ее в том или ином виде не только включают роль оппозиции как оппонирующего проводимому курсу начала, но и являются функциями последнего.

A — функция адаптации системы к условиям окружающей среды и как функция альтернативности, предполагая адаптацию к политическим условиям, включая сложившееся доминирование, как их составную.

G — функция постановки целей и их преследования, а также функция целеориентации так же актуальна для альтернативности, как целеполагание со стороны доминирования в отношениях с ней.

I — функция внутренней интеграции элементов системы для альтернативности означает интеграцию ее составных и стремление к интеграции в себя новых элементов, до этого момента входивших в систему власти.

L — функция воспроизводства базовых ценностей и нормативных целей, латентного сохранения образца для альтернативности выполняет ту же роль, воспроизводя образцы политического, культурного и психологического противостояния с началом утвердившегося ценностно-целевого доминирования.

При этом можно сказать, что оппозиция выполняет все функции, присущие власти, но как бы воспроизводя их в трех

отношениях. Первое: она участвует в выполнении властью своих функций как простой составной элемент, через который, в частности, они выполняются. Второе: она представляет собой претензию на альтернативность, с одной стороны, представляя альтернативный способ выполнения этих функций, с другой — альтернативного субъекта, претендующего на замещение власти для исполнения этих функций. С третьей — альтернативность представляет некую «власть в себе», власть ее субъектного и организованного начала по отношению к элементам общего социума, которые: 1) имеют коллективную идентичность; 2) признают подчиненную (*oppressed*) позицию своей группы; 3) отрицают легитимность этой позиции, видя вину за свое угнетенное положение в обществе в целом, в окружающей социальной среде.

Эта «власть-в-себе», в отличие от собственно власти, не имеет присущих власти рычагов принуждения и осуществлять власть по отношению к объединяемым в том или ином виде элементам может лишь в политическом поле идеального альтернативного конструирования, как условие и постоянно воспроизводящийся и институционализирующийся результат политической практики как арены борьбы агентов, направленной на изменение соотношения их сил⁶. В отличие от властной системы, подчинение ей осуществляется исключительно через добровольное подчинение признанному легитимным началу.

Используя подходы С. Гроха, можно определить альтернативное сознание как «сознание, которое определяет социальную ситуацию [индивида] как несправедливую и подлежащую изменению посредством коллективного действия»⁷. А обращаясь к формулам А. Морриса — как «набор идей и убеждений

⁶ Бурдые П. Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 182.

⁷ Groch S. A. Oppositional consciousness: Its Manifestation and development The Case of People with Disabilities // Sociological Inquiry. — 1994. — Vol. 64, № 4. — P. 371.

мятежного характера, сконструированных и развитых группой в подчиненном положении с целью направить ее борьбу на подрыв, реформирование или свержение системы доминирования»⁸.

Основой этого начала выступает коллективная (групповая) идентичность как «осознание того, что собственные идеи, чувства и интересы сходны с идеями, чувствами и интересами тех, кто обладает такими же “стратовыми” (stratum) характеристиками»⁹. Можно сказать, что компонентами коллективной идентичности выступают границы, сознание и символические договоренности (boundaries, consciousness, negotiation). «Концепция границ соотносится с социальными, психологическими и физическими структурами, которые устанавливают различия между протестной и доминирующей группами. Сознание состоит из интерпретативных схем (фреймов), возникающих из борьбы протестной группы в определении и реализации ее интересов. Переговоры включают в себя символы и ежедневные акции подчиненных групп, которые используются для сопротивления и реструктурирования существующей системы доминирования»¹⁰.

В таком случае приходится признать, что, подобно тому, как в самом отношении утвердившегося доминирования и альтернативного конструирования, в частности — наследуемого как видение альтернативного будущего, существенную роль играет степень взаимного понимания, оно приобретает уже первостепенную роль в консолидации альтернативности как понимание между ее организованным, иницирующим и стихийным нача-

⁸ Morris A. D. Political Consciousness and Collective Action Fields // Frontiers in Social Movement Theory / ed. by A. D. Morris, C. M. C. Mueller. — New Haven and London : Yale University Press, 1992. — P. 363.

⁹ Gurin P., Miller A. M., Gurin G. Stratum Identification and Consciousness // Social Psychology Quarterly. — 1980. — Vol. 43, № 1. — P. 30.

¹⁰ Verta T., Whittier N. E. Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization // Frontiers in Social Movement Theory / ed. by A. D. Morris, C. M. C. Mueller. — New Haven and London : Yale University Press, 1992. — P. 111.

лами. То есть тканью интеграции альтернативности оказываются проблемы герменевтики.

Как пишет П. Рикер, «герменевтическая проблематика возникла в рамках экзегезы, то есть дисциплины, цель которой ... понять [другого], исходя из его интенции, понять на основании того, что он хотел бы сказать»¹¹.

Здесь проблема заключается в том, что при наличии схожих идентификаций и «предмнений» сознательная и стихийная части альтернативности выступают в значительной степени как «другие» во взаимном отношении в той степени, в которой при общности «стратовых» идентификаций они обладают как минимум разностью степени понимания и осмысления причин своего подчиненного положения.

В основе этой разности лежит та самая проблема, о которой сначала Ф. Энгельс, а потом и В. И. Ленин писали, говоря о практической маловероятности выработки социалистического сознания самим пролетариатом, о необходимости привнесения его в рабочую среду интеллигенцией. Они отмечали, что, поскольку пролетариат постоянно занят иными вопросами, а именно — текущей выматывающей производственной деятельностью, на которую он обречен экономическими условиями своего существования, его представители просто не имеют необходимого времени для занятия теоретической деятельностью, хотя тогда, когда его представители сосредоточивались на ней, они давали достаточно яркие образцы развития социалистической идеологии, но переставали быть собственно членами этого класса. В. И. Ленин обозначил эту проблему как необходимость соединения социализма с рабочим движением¹².

Степень «инаковости» организованной и стихийной частей альтернативности может быть разной в зависимости от источ-

¹¹ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М. : АCADEMIA, 1995. — С. 3.

¹² Ленин В. И. Что делать? // ПСС. — Т. 6. — С. 39, 78–79.

ника этой «инаковости». В первом случае она вытекает из того, что субъектное начало отлично по своему социальному положению, т. е. более высокие формы альтернативности приносятся представителями иных социальных групп. Во втором — из того, что субъектное начало раньше остальной массы приобрело черты альтернативного конструирования и накопило большой опыт деятельности. В третьем — из того, что стихийное начало присоединяется к ранее образовавшемуся ядру, попадая в результате экономических процессов в его социальные условия, которые раньше были отличными (например, перетекание масс крестьянства в ряды рабочих).

В любом случае в той или иной степени образуется «инаковость», в обобщенном виде сутью своей имеющая то, что субъектная и организованная часть альтернативности является носителем альтернативных конструкторов сознания больше на символическом и теоретическом уровне, тогда как стихийная — на уровне бытовых и эмоциональных оценок происходящего.

Если преодоления этой «инаковости» не происходит, в одном случае создается ситуация, когда смысловые начала сознательной части альтернативности начинают доминировать в поведенческой политической деятельности над непосредственными интересами основной массы, и тогда они либо не получают поддержки в массовом политическом поведении, либо на отдельных фазах политической борьбы совпадают (в моменты общественной активизации), но разрываются в моменты ее спадов. В этом случае доминирующие ценностно-целевые центры получают возможность перехватить коммуникационные каналы с протестной массой и погасить недовольство уступками в рамках существующей системы.

В другом случае в политической активности альтернативности начинают доминировать текущие интересы протестных групп, также находящие частичное удовлетворение в рамках данной системы.

В обоих случаях осуществляется не интеграция, а подчинение одного из начал другому, в итоге не обеспечивается полноценная интеграция элементов альтернативной системы и она не достигает целостной субъектности.

Для ее достижения нужна интеграция установок организованной и стихийной частей в интегрирующих социальные интересы смыслах альтернативности, т. е. решение проблемы «понимания».

Как отмечает П. Рикер: «Понимание не уничтожает дистанцию через некое эмоциональное слияние, оно скорее состоит в игре близости и расстояния, игре, при которой посторонний признается в качестве такового даже тогда, когда обретается родство с ним»¹³.

Здесь интересна, в частности, позиция Х.-Г. Гадамера: субъект становится «объективным лишь тогда, когда признает свободную субъективность другого, то есть его способность отличаться как от предожиданий субъекта, так и от его собственного прошлого облика»¹⁴. Иначе говоря, для рассматриваемого случая организованное субъектное начало альтернативности может выполнить функцию интеграции, принимая установки стихийного начала не как «неполноценные» и подлежащие заведомой модификации (что теоретически в известном смысле верно), а как несущие сущностный интерес.

Как пишет он же, задача герменевтики заключается в том, чтобы объяснить «чудо понимания», которое состоит в причастности к общему смыслу¹⁵.

Причем, хотя проблема понимания стоит перед обоими началами, большая ответственность лежит на организованном

¹³ Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. — М. : Медиум, 1995. — С. 9.

¹⁴ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. — М. : Прогресс, 1988. — С. 142.

¹⁵ Там же. — С. 346.

как заявившем претензию на более высокий уровень сознания и большее владение политическим инструментарием. Стремясь понять и интегрировать отличное от него стихийное начало, он «переносится ... в ту перспективу, в пределах которой другой ... пришел бы к своему мнению. Это означает ... не что иное, как стремление действительно посчитаться с фактической правотой того, что говорит другой. Если мы хотим понять Другого, мы пытаемся даже усилить его аргументы»¹⁶.

По Х.-Г. Гадамеру, «тот, кто хочет понять, не должен отдаваться на волю своих собственных предмнений во всей их случайности»¹⁷.

Можно сказать, что для успешной интеграции смыслов в поле альтернативного конструирования важно осознавать инаковость стихийного начала, не превращая его в нечто свое, знакомое, не подменить неявно выраженные в ней объективные интересы своим представлением об этих интересах, иначе «другое» до такой степени предстанет перед нами с точки зрения «своего», что ни «свое», ни «другое» вообще уже не обретают голоса¹⁸.

Таким образом, встает вопрос о типе отношений между организованным и стихийным началом альтернативности. Поскольку, как было отмечено, эти отношения в известном смысле являются отношениями «внутреннего властвования», они могут носить как монологический, так и диалогический характер.

В первом случае, когда обладающие монополией на целеполагание центры директивного доминирования не хотят никого и ничего замечать, кроме себя¹⁹, что характерно для авторитарно-патриархального типа политической культуры, где происходит

¹⁶ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике... — С. 346.

¹⁷ Там же. — С. 321.

¹⁸ Там же. — С. 356.

¹⁹ Панарин А. С. Философия политики. — М. : Наука, 1994. — С. 56.

«снятие» бытия другого в эгоцентрическом синтезе, так и организованная часть альтернативности видит лишь свой взгляд на причины и сущность подчиненного положения части общества, от имени которой она выступает, не видя либо не признавая существенными установки своего партнера.

Во втором случае осуществляется признание бытия другого именно как другого, принятие его инаковости, т. е. организованная часть альтернативности видит свою задачу не в том, чтобы выдать свои ценности за интересы стихийной части, даже когда по ряду моментов они совпадают, а в том, чтобы понять эти интересы и не только выразить их через свои символы и установки, но последние — в форме, стыкующейся с представлениями и ожиданиями стихийного партнера.

Перефразируя известную фразу: «Трагедия абсолютной власти в том, что она замечает болезни общества тогда, когда они безнадежно запущены»²⁰, можно сказать, что трагедия монологического отношения организованной части альтернативности в том, что она замечает отрыв от массовых ожиданий, когда массы покидают ее и находят другого, иногда ложного выразителя своих интересов.

Возникает вопрос о необходимости «полиархичности» отношений альтернативности, имея в виду не обязательно и не столько «правление многих», но создание «арены представления интересов»²¹ разного уровня альтернативности. То есть «полиархичность» здесь заключается в выполнении организованной частью альтернативности функции представления коллективных требований и поиска оптимальных путей их продвижения, в первую очередь путем воздействия на политический процесс²².

²⁰ Панарин А. С. Философия политики... — С. 57.

²¹ Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семенов И. С. Группы интересов и Российское государство. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — С. 18.

²² Там же. — С. 27.

Организованная часть сама в этом случае, подобно «полиархической власти» в обществе, выступает в качестве «общей силы, результата желания жить вместе, которая существует до тех пор, пока действует это желание»²³.

Таким образом, выполняя эту задачу, выстроенные интегративные отношения в альтернативности, с одной стороны, решают проблему превращения ее в более-менее или единый субъект, способный последовательно и целостно противостоять системе доминирования, с другой — демонстрируют обществу большую эффективность по сравнению с не устраивающей ее властью. В итоге создают отношения необходимые, по мысли Р. Фишера и У. Юри, «чтобы ткань общественной жизни не рвалась с каждым конфликтом, а, наоборот, крепла вследствие роста умения находить и развивать общие интересы»²⁴.

При этом она оказывается способной создать такую внутреннюю организацию соотношения своих «инаковых» начал, которая сможет избежать разрыва между ними, т. е. между ее организованным и стихийным началом, в условиях разных фаз противостояния власти, характерного для ситуации поражений на том или ином этапе, когда последнее отказывает первому в реальной политической поддержке.

1.1.2. Критерии завершенности альтернативной субъектности

По исходному понятию, альтернативность является началом, противостоящим существующему и утвердившемуся. В этом случае мы должны признавать за ней некие качества, делающие ее явлением относительно соразмерным существующей конвенциональности и директивности. Для него недостаточно простой «разницы» позиций и несогласия, которые в политиче-

²³ Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика... — С. 47.

²⁴ Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или Переговоры без поражения. — М., 1990. — С. 11.

ской системе присутствуют по определению: их подразумевает сам институт директивности, предполагающий наличие механизмов принуждения.

Противостояние возникает там, где это несогласие обретает некие масштабы соразмерности, при которых альтернативность может выполнять некие социальные функции. Принимая некоторые подходы диссертационного исследования А. Тановой, мы можем зафиксировать некоторые моменты конкурирующей альтернативности: 1) сигнально-нормативная функция; 2) функция давления на властные структуры; 3) функция корректировки политического курса; 4) функция стимулирования социальных инноваций²⁵.

Если согласиться с этим, следует признать, что «простое несогласие» со сложившейся данностью, чтобы быть собственно альтернативностью, должно: 1) прежде всего, обладать определенной целостностью, позволяющей выражаться в относительно непротиворечивых сигналах сложившейся системе; 2) обладать определенным политическим потенциалом, позволяющим оказывать давление на власть и вынуждать ее корректировать свой курс (в этом отношении вторую и третью выделяемые А. Г. Тановой функции логично было бы объединить); 3) обладать определенным креативным потенциалом, позволяющим выдвигать эффективные альтернативные конструкции. Таким образом, альтернативность предстает не только как нечто «вообще отличное» и «другое» по отношению к существующей реальности, но как некий коллективный актер, участник политического действия, выступающий как начало политической культуры общества.

Для анализа данного явления как такового существуют три основных подхода исследования: марксистско-ленинский, основной акцент делающий на составляющей выражения социальных интересов; поведенческий, рассматривающий особый тип созна-

²⁵ *Танова А. Г.* Легальная оппозиция в политическом процессе современного российского общества: дис. ... канд. социол. наук. — СПб., 2003. — С. 70–77.

ния — альтернативно-конструирующее — и такие его индикаторы, как символы (символическая среда языка), культурные артефакты, и исследующий этот феномен с позиций доминирующих норм в сфере политики²⁶; и интерпретационный, основанный на поиске «смыслов» политической жизни, при этом символ трактуется как ключевой элемент в понимании культуры. Представляется, что эти подходы можно рассматривать не столько как альтернативные и противостоящие, сколько как дополняющие друг друга и отражающие разные операционные уровни явления, которое они исследуют.

Можно сделать вывод, что при анализе качества завершенности феномена альтернативности мы имеем дело с тройным его измерением: социальным, поведенческим и интерпретационным, каждое из которых требует определенной целостности на разных уровнях. При достижении последней «несогласие» и приобретает масштаб идеального политического альтернативного конструирования, обладающего опережающим характером, что, собственно, и позволяет ему приобретать качества идеального конструирования будущего, способного противостоять утвержденности представлений настоящего. При этом указанная целостность и завершенность в первую очередь является завершенностью выстраивания отношений между организованной (субъектной) и стихийной частями альтернативности.

На социально-экономическом уровне, исследуемом марксизмом, завершенность этих отношений требует сущностного единства социальных интересов стихийной и артикулирующей их частей альтернативности.

Это не отрицает, а предполагает следующий интерпретационный уровень, на котором производимые организованной частью смыслы должны включать социальные интересы не только в плане несогласия с интерпретациями власти (и в этом смысле

²⁶ Назаров М. М. Политическая культура российского общества 1991–1995 гг. Опыт социологических исследований. — М., 1998. — С. 11.

они уже должны быть альтернативными), но и включать альтернативу возможным властным действиям. Это предполагает и общность или взаимную интегрированность языка, ценностей, оценок и предложений, выражающихся в «совокупности значений, воплощенных в символических формах, включая действия, высказывания» (К. Гирц)²⁷, обеспечивающих обмен опытом, разделение становящихся интегрированными представлений и верований. Здесь базовыми компонентами оказываются «компоненты сознания и поведения населения в отношении составляющих политической системы: институтов власти, политического режима, доминирующих политических ценностей»²⁸.

Создается общий горизонт политического видения альтернативности в качестве «поля зрения, охватывающего и обнимающего все то, что может быть увидено из какого-либо пункта ... обладающий шириной горизонта способен правильно оценить значения всех вещей, лежащих внутри этого горизонта, с точки зрения удаленности и близости, большого и малого»²⁹.

Политическая идентификация, имеющая своей основой первые проявления сознательной альтернативности при своем становлении, в свою очередь начинает воспроизводить его, подтверждая в глазах индивидуальных членов альтернативности несправедливость своей жизненной ситуации и необходимость ее изменения посредством совместного политического действия. Вследствие участия индивидов в протестной деятельности на основе атрибутов коллективной оппозиционной идентификации конструируются оппозиционные убеждения, укрепляя мобилизационный потенциал протестно-альтернативных действий.

²⁷ Назаров М. М. Политическая культура российского общества 1991–1995 гг. Опыт социологических исследований... — С. 14.

²⁸ Там же. — С. 28.

²⁹ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике... — С. 358.

При этом степень достигнутой альтернативной идентификации выражается и в степени достижения легитимности альтернативности, начинающей превалировать над легитимностью власти. Собственно, само начало противостояния альтернативного и существующего можно рассмотреть как конкуренцию легитимностей как в том или ином однородном поле ее происхождения, так и между генетическими разными началами легитимизации.

Р. Мерельман видел в легитимности «качество моральной или целесообразной правоты режима, приписываемое ему населением»³⁰. Д. Истон считал легитимной систему, соответствующую «собственным моральным принципам индивида, его собственному пониманию того, что является справедливым и правильным»³¹. С. Липсет как таковую отмечал³² «способность системы породить и поддерживать веру народа в то, что ее политические инструменты в наибольшей степени отвечают интересам общества».

Как и о власти, об альтернативности, тем более об альтернативности наследуемого будущего, можно сказать, что она является легитимной, если легитимны все элементы ее структуры, которая представляет собой «единство субъекта, цели и средств»³³.

Следует отметить, что вопрос о легитимности для альтернативности является даже более важным, чем для власти. Власть, опираясь на те или иные принципы легитимности, т.е. социально значимые верования, обосновывающие ее право приказывать и обязанность масс повиноваться, может дополнять

³⁰ Тимофеева Л. Н. Власть и оппозиция: проблемы легитимации и коммуникации // Народ — партии — власть. Общественно-политические движения как предмет исследования / Сост. Е. И. Хаванов. — М., 1997. — С. 64.

³¹ Там же.

³² Там же.

³³ Шабров О. Ф. Проблема эффективности политического управления // Социология власти. Информационно-аналитический бюллетень. № 2-3. Народ и власть / Гл. ред. В. Бойков. — М., 1998. — С. 74.

его директивным началом, которого лишена альтернативность как таковая, опирающаяся в основном лишь на привлекательность своего идеального конструирования и его соответствие мечтаниям и ожиданиям стихийного составляющего альтернативности и нуждающаяся в достигнутом согласии на ее поддержку.

Проблема обеспечения согласия на подчинение стихийного начала выводит вопрос на третий уровень — уровень поведенческого анализа.

Если даже абстрагироваться от рассмотрения того, что принято считать базовыми компонентами политической культуры, мы сталкиваемся с выделяемыми четырьмя уровнями ее проявления:

1) уровень системы в целом — знания и представления индивида о композиции властных ресурсов государства и политической системы³⁴;

2) уровень «процессов на входе» системы;

3) уровень «процессов на выходе» — деятельность институтов, включенных в процесс непосредственной реализации властных решений;

4) индивидуальный уровень — здесь рассматривается соотношение личности с элементами политической культуры разного уровня и выявляется культура участия и культура подданничества.

При этом надо отметить, что минимум три первых из этих уровней являются зависимыми от деятельности сознательной части альтернативности степени интеграции составляющих альтернативность элементов. Применительно к первому от нее, ее деятельности и пропаганды зависит распространение в обществе соответствующих представлений о системе, в частности направленных на делегитимацию последней. Второй и третий

³⁴ Назаров М. М. Политическая культура российского общества... — С. 12.

напрямую являются для организованной части элементами ее интегрирующей деятельности, т. е. на входе — обеспечение агрегации массовых настроений и требований в манифестируемые требования по отношению к власти, на выходе — организуемые ею действия давления на власть и степень полученных от этого давления результатов.

Таким образом, можно сказать, что для того чтобы реально обладать качествами оппозиционности, в частности — завершенной оппозиционной субъектностью, претендующее на это начало должно: 1) быть связанным с относительно крупными социальными интересами (понимая под последними не только социально-экономические интересы, но и, возможно, социально-культурные, конфессиональные, национальные или иные социально значимые интересы); 2) обладать их относительным интерпретационным единством, при котором их артикуляция доступна тем социальным образованиям, которым они свойственны; 3) обладать как рычагами легитимного (или признаваемого массами как таковые) воздействия на них, так и определенным единством поведенческих алгоритмов организованной и стихийной частей альтернативности.

При этом степень этой завершенности, делающей выступающую альтернативу соразмерной существующему утвердившемуся порядку, т. е. делающей ее собственно альтернативностью, может иметь как минимум два измерения.

Первое — это собственно степень организованности альтернативности. Здесь принято выделять четыре уровня организации. Отталкиваясь от положений работы А. Г. Тановой, можно выделить³⁵:

1) стихийную альтернативность, основанную главным образом на эмоциях, более на настроениях, чем на мнениях, на общих представлениях о чем-либо;

³⁵ *Танова А. Г.* Легальная оппозиция в политическом процессе современного российского общества... — С. 66–67.

2) массовое недовольство: более организованная форма проявления альтернативности может быть использована различными политическими лидерами в своих целях;

3) общественно-политические движения: «массовые самостоятельные политические организации», которые «создаются для оказания давления на органы власти, выражения политических требований заинтересованных групп населения»³⁶;

4) политические партии, определяемые как «политические организации с внутренней иерархической структурой, существующие как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленные на получение и удержание государственной власти и стремящиеся для этого к народной поддержке через участие в выборах»³⁷.

При понятной обоснованности такого деления эти уровни скорее следовало бы считать не типами оппозиции, а уровнями организации внутри самой оппозиции, при этом в ее рамках могут соседствовать и дополнять друг друга различные формы объединения и организации. Более важным представляется вопрос о степени взаимной интеграции этих начал, в данной работе укрупненно представленных как организованная и стихийная части оппозиции. Указанная выше взаимоинтеграция на социальном, интерпретационном и поведенческом уровнях — скорее, некий идеальный вариант, который далеко не всегда достигается.

Среди прочих возможно несколько основных вариантов незавершенности альтернативного субъективирования:

1. Имеется относительное сущностное единство социальных интересов организованной и стихийной частей, но первая часть не осуществляет интерпретационную интеграцию со второй частью, равно как и не достигается поведенческое единство этих частей.

³⁶ *Кодин М. И.* Общественно-политические объединения и формирование политической элиты в России (1990–1997). — М., 1998. — С. 47.

³⁷ Там же. — С. 50.

2. Имеется единство на базовом социальном уровне и интерпретационная интеграция достаточно высока, но поведенческие начала двух составных альтернативности различны и принятие предложенных смыслов не воплощается в поведенческом плане.

3. Нет единства в социальном плане, но достигается определенная интерпретационная и поведенческая интеграция.

4. Нет единства ни в социальном, ни в интерпретационном пространстве, но достигается поведенческое единство.

5. Нет единства социального и поведенческого, но высока интерпретационная интеграция.

Можно отметить, что эти варианты сильно разнятся по своей вероятности, в частности предельно маловероятен четвертый вариант, но, кроме этого, их можно разделить на два типа: первые два варианта, которые можно считать двумя случаями незавершенной альтернативности, и остальные — т. е. варианты того или иного единства на одном или двух вторичных уровнях без базового социального родства, которые можно рассмотреть как варианты превращенной или искаженной альтернативности.

Однако в любом случае в описанных вариантах можно говорить об ослаблении потенциала субъекта альтернативности и его неспособности (или неполной способности) соответствовать своему назначению.

1.1.3. Типы системности альтернативности

Отмеченный выше вопрос о степени организованности альтернативности и более широкий вопрос о степени ее «завершенности» и внутренней самоинтегрированности определяют практические возможности альтернативности и степень эффективности ее противостояния налично данному состоянию. Определяя практические возможности, эти вопросы во многом определяют и методы, доступные для альтернативности.

Если организованная часть альтернативности выражает интересы более широкой матричной социальной группы, но не едина в интерпретационном и поведенческом поле, она

либо ограничивается «моральным» противостоянием с властью и существующей данностью как таковой и сосредоточивается на пропагандистской и просветительской деятельности, либо использует спонтанные несистемные методы, подчас способные вылиться в экстремистские и террористические действия, если для них оказывается достаточно собственных ресурсов.

Если организованная часть альтернативности соединяет выражение социальных интересов с интерпретационным единством, но не обладает поведенческим единством, т. е. может, например, получить поддержку масс на выборах, но не может организовать их более широкие действия, она в основном ограничена полем парламентской деятельности и остается «парламентской оппозицией». Либо, напротив, активность стихийной части начинает опережать организованную часть, и стихийные выступления от разрозненных акций неповиновения до мятежей распространяются по стране. Однако не находя законченного смыслового и целевого выражения и в большинстве случаев не достигая ощутимого результата — за исключением ситуации, когда положение вещей выходит и из-под контроля власти, и происходит крушение всей системы без ее целенаправленной замены на новую.

Если единство достаточно высоко на всех трех уровнях, оппозиция располагает всем диапазоном средств противостояния власти, и уже от состояния и целеполагания организованной части зависит, какие методы избираются для борьбы со сложившейся реальностью.

В любом случае ключевыми оказываются смысловые и целевые качества, присущие альтернативному конструированию, центральным из которых является сущностное позиционирование по отношению к существующей властной системе. Альтернативность как относительно самостоятельная система в любом случае является частью общей реальности системы, но может различаться по отношению к правилам и нормам собственно властной социальной системы.

Это предполагает, что существующая альтернативность может быть классифицирована по двум ведущим группам оснований: по используемым методам и по степени противостояния с наличной реальностью и системой власти. По первому основанию она может быть разделена на легальную и нелегальную. Интересно, что А. Г. Танова³⁸, предлагая первое из этих делений на основе такого критерия, как степень участия в институтах власти, практически ставит знак равенства между парами «парламентская – непарламентская» и «системная – внесистемная».

Последнее приравнивание выглядит достаточно спорно. Прежде всего, если первая пара характеризует используемые методы, то вторая отражает уже целеполагание и общее позиционирование по отношению к власти, тогда как и системная альтернативность может использовать как сугубо парламентские, так и внепарламентские методы, и те же методы могут быть использованы внесистемной альтернативностью. То же замечание можно отнести и к паре «легальная – нелегальная» оппозиция, поскольку возможно как легальное внесистемное противостояние, так и нелегальное, но не ставящее своей задачей слом существующей системы: например, подготовка заговорщиками дворцового переворота.

Некоторое смешение оснований классификации присутствует и в признанных классических моделях, на которых можно было бы строить классификационные системы.

Опираясь на подходы Д. Сартори, пришлось бы говорить о разделении на «ответственную», «неответственную» и «частично ответственную» (*semi responsible*) альтернативность (где в последнем случае имеются в виду малые партии, которые, не подвергая сомнению действующие институты политической системы, вместе с тем не стремятся к обретению политической

³⁸ Танова А. Г. Легальная оппозиция в политическом процессе современного российского общества... — С. 62–63.

власти и вхождению в состав правительства³⁹). Сам принцип «ответственности», по мнению автора, выглядит нецелостно: с одной стороны, в него закладывается вопрос отношения к сложившимся институтам, с другой — установка на обретение или необретение власти.

Если строить классификацию, опираясь на подходы О. Кирхаймера⁴⁰, второй тип («принципиальная» альтернативность) предполагал бы противостояние системе в целом, а первый, третий и четвертый («классическая», «лояльная» и «политические конкуренты») — по сути характеризовали бы разные членения внутри в целом системной альтернативности, т. е. для выделения одной группы пришлось бы использовать единственный критерий, тогда как для определения другой — некоторые дополнительные.

В приводившемся делении Х. Линца (лояльная, полулояльная, нелояльная), который выводит типы деления из используемых методов⁴¹ и называет восемь критериев лояльности, вызывает определенное возражение то, с одной стороны, если рассмотреть комбинации, образуемые сочетанием восьми предлагаемых критериев, число их будет порядком превышать число (три) полученных видов, а с другой — сам набор этих критериев выглядит хотя и обоснованно, но достаточно произвольно.

Опора на подходы Ф. Бэргхорна (применительно к советской эпохе)⁴² привела бы к выведению трех типов альтерна-

³⁹ *Sartori G. Parties and Party systems.* — London: Cambridge University Press, 1976. — P. 140.

⁴⁰ *Kirchheimer O. Germany: The Vanishing Opposition // Political Opposition in Western Democracies / ed. by R. A. Dahl.* — L., 1966. — P. 127–156; *Kirchheimer O. The Waning of Opposition in Parliamentary Regimes // Social Research.* — 1957. — Vol. 24, № 2. — P. 237–259.

⁴¹ *Линц Х. Крушение демократических режимов: кризис, разрушение и восстановление равновесия // Проблемы Восточной Европы.* — 1993. — № 39–40. — С. 5–21.

⁴² *Barghoorn F. C. Opposition in Soviet Politics // Regimes and Oppositions / ed. by R. A. Dahl.* — New Haven and London: Yale University Press, 1973. — P. 39.

тивности: 1) фракционной — включает в себя часть правящей группировки, стремится сменить состав правительства, но не характер режима; 2) секторальной — включает группы интересов, конформистски настроенные по отношению к режиму, но стремящиеся изменить отдельные аспекты его политики; 3) разрушительной — отвергает основные принципы режима, ее активность носит внесистемный характер, она подвергается преследованиям со стороны властей. Здесь мы тоже видим, что, с одной стороны, в основу классификации закладываются разные признаки: первые две группы различаются между собой, третья различается с ними по базовым целям. И если продолжить, во всех трех случаях теряется сама альтернативность как проектная, идеально альтернативная конструктивность. От альтернативности остается, по сути, одно — несогласие, а, стало быть, исчезает альтернативность как таковая.

Можно отметить и другое: практически всегда, даже если это не оговаривается прямо, одним из моментов различения является отношение альтернативности к существующей системе власти. Можно считать классификационную пару «системная – внесистемная» универсальной и базовой.

В широком смысле под системной альтернативностью следует понимать ту, которая ведет борьбу за утверждение своего конструкта в рамках данной системы и изменение проводимого курса без замены этой системы на иную. Причем эта системность может быть как манифестируемой, когда альтернативность официально признает постоянство системы, так и фактической, когда манифестируется стремление изменить систему ценностно-целевого доминирования, но реально осуществляется курс, не затрагивающий ее основ, либо направленный на изменение форм с целью сохранить сущность, сделав их более адекватными сложившимся условиям.

Под внесистемной альтернативностью негласно понимается такое качество, как установка на изменение существующей системы в целом. Однако здесь дело обстоит сложнее. Само на-

званное различие определяется в значительной степени интерпретационным полем (а в основе его — конфигурацией существующих социальных интересов). Но возможны два варианта его организации.

В первом интересы являются либо интерпретируются как различные, но для своего удовлетворения не требующие изменения базовых оснований системы: например, сохранение традиционной культуры, право на равных основаниях использовать принятый язык, исповедование принятой религии, сохранение приверженности привычным смыслам. Целеполагание в первую очередь ориентировано на защиту представляемого интереса, разрушение или изменение системы представляет интерес, но в той степени, в которой она препятствует их реализации. Носители интереса предпочли бы, скажем, чтобы государственный язык был изменен и у власти находились носители их языка, но могут быть удовлетворены и достижением его равноправия и отказа системы от курса на его искоренение. Интерес в идеале желает изменения системы, но сама по себе она его интересует лишь постольку, поскольку проявляет прямую враждебность. Его более интересует не уничтожение противостоящей системы, а существование своей, он удовлетворяется ее созданием, а его организованные носители — приданием себе статуса начала, «борющегося» против существующего положения. То есть речь на деле идет не о достижении заявленной цели, а о декларации своей претензии на ее достижение. В политическом плане здесь в известном смысле можно привести позицию французских монархистов во Второй Республике: совместно они имели в парламенте большинство, но ни одна из сил не способна была возвести на престол своего монарха в случае отказа от республиканского строя, и республика оказывалась ненавистной, но единственно приемлемой формой политического господства антиреспубликанских сил.

В этом случае альтернативная система самим своим существованием снимает выражаемый ею интерес, претендует

не столько на уничтожение, сколько на замену системы собой, и удовлетворяется фактом своей альтернативности. В интерпретационном поле альтернативность не признает легитимности власти, но в поведенческом, не считая себя ограниченной правилами игры в основе, на практике не выходит за их рамки.

Во втором случае в основе альтернативности лежит интерес, не удовлетворимый по неустранимым в рамках данной системы основаниям. Само существование наличной системы не позволяет удовлетворять интерес альтернативности, уже само системное оформление которой означает разрушение наличной системы целеполагания и директивности. Интерпретационное поле интегрировано с поведенческим, и это единство в своем существовании враждебно оппонирующей системе.

Если в первом случае альтернативность, не признавая легитимности существующей, способна к внесистемности, некоторой автономии, во втором она антисистемна, само ее существование есть уничтожение противостоящей.

Можно условно выделить три случая, приводящие к оформлению «несистемной» альтернативности в качестве «внесистемной» или «антисистемной».

Первый. В основе требования альтернативности лежит крупный, но относительно автономный интерес, который последовательно выражен, претендует, но не оказывается способен в своем последовательном воплощении заместить противостоящий ему интерес — «внесистемная» роль.

Второй. В основе лежит относительно всеобщий, антагонистический по отношению к противостоящему интерес, но его интерпретация и смысловое оформление не последовательны, не представляют его в качестве такового. Поведенческая ориентация альтернативности не оформляется как уничтожающая систему власти «внесистемная» оппозиция. Интерпретация и поведенческая интеграция осуществлены последовательно — «антисистемная».

Третий. В основе оппозиции лежит тот же интерес, но интерпретационно последовательно выраженный. Альтернативность последовательно не интегрирована на поведенческом уровне — она может обрести черты «внесистемности». Она интегрирована последовательно — «антисистемная» альтернативность.

В итоге обоснованным представляется типологизация альтернативности в характеристике ее отношений с наличной реальностью в трех вариантах: «системная – внесистемная – антисистемная». Ведущая роль в обретении роли принадлежит способности ее организованной части обеспечить последовательную интеграцию на всех трех уровнях: социальном, интерпретационном и поведенческом.

Обобщая, можно сказать, что в рамках этих трех вариантов мы имеем и три уровня реализации наследования будущего, т. е. наследования альтернативы, предложенной прошлым, но оказавшейся нереализованной.

В первом случае системной альтернативности предполагается, что субъект альтернативности или система альтернативности пытаются внести свое наследование будущего в систему, выстроенную на его отрицании — т. е. системе предлагается признать свою ошибку в этом отрицании и принять данное наследование, отказавшись от своего ценностно-целевого полагания. Что возможно либо как вынужденное имитационное действие, направленное на поддержку слабеющей легитимности, либо как результат явного банкротства своего ранее утвердившегося ценностно-целевого конструкта.

Во втором случае несистемной альтернативности предполагается, что субъект альтернативности или система альтернативности, формально предлагая сложившейся системе принятие ранее отвергнутого варианта будущего, не столько рассчитывают или, точнее, в принципе рассчитывают не на его принятие, а на признание права альтернативности на его исповедание, обрядовость его почитания, позволяющую сохранять свой статус субъекта на-

следования будущего, не предполагая риска и неудобств напряжения, связанного с попыткой это наследование в полной мере реализовать, но тем не менее создается двучленная система. Право на наследование признается как легитимное, но самого реального наследования, кроме символического, не происходит.

Третий вариант — антисистемная легитимность: предполагается, что субъект альтернативности или система альтернативности утверждают свое право на наследование явочным порядком, реализуя черты прошлой проективности без согласия существующей системы, хотя возможно и без ее провозглашаемого разрушения, но поддержка конструкции в прошлом обещанного будущего оказывается в своей легитимности столь весома, что само по себе ее декларирование ведет к нецелевому разрушению существующей системы ценностно-целевого доминирования.

1.2. Теоретические основания исследования феномена субъекта альтернативности (субъектность наследования альтернативности)

1.2.1. Субъектность наследования в системе опережающей альтернативности

Основное различие, которое можно наблюдать в оппозирующей паре, наследующей оставленное прошлым альтернативное будущее и существующей данной реальностью, заключается как раз в том, что последняя выступает как действительно реальная, а первая пусть и более привлекательная, но идеальная. И идеальность в данном случае обладает и сильной, и слабой стороной. Сильной — в смысле идеальности как рисуемого совершенства, слабой — как нереальной и, более того, однажды отвергнутой или несостоявшейся.

Тени и призраки в том отношении сильнее данности, им приписываются любая привлекательность и любое могущество,

но они для реального противостояния требуют той или иной реально данной реинкарнации: призрак царевича Димитрия был сильнее Годунова, но для материализации своего преимущества он требовал персонализированного наличия. Эта реальная персонализация могла проигрывать любые битвы, но ее призрачность вновь наполняла ее людьми и силами.

Альтернативность требует своего хотя бы первичного реального воплощения, она, как всякая идея и образ, имеет свойство становиться материальной силой, когда овладевает массами, но для этого она должна овладеть своим первичным носителем, который и становится воплощением ее действующей субъектности.

Говоря о действующей политической субъектности, мы понимаем, что она должна обладать наличием ресурсов: организационным, креативным и проектным, кадровым и т. д. Но это достаточно общий момент. Если подходить более детально, наверное имеет смысл говорить о том, что можно было бы назвать конституирующими чертами этой субъектности. Представляется правомерным в их выделении использовать известные подходы, данные в схожей ситуации Дж. Ла Паломбарой⁴³.

Речь в данном случае идет о том, что в данном отношении конституирующие черты субъективации альтернативности предполагают: 1) обязательное обладание субъектностью особого ценностно-целевого видения мира и человека (мировоззрения); 2) субъектность альтернативности предполагает обладание таким качеством, как достаточно длительное институализированное объединение людей на разных уровнях политического оппонирования наличной реальности (от местного до международного); 3) обладание целью утверждения своего ценностно-целевого доминирования и обеспечение наследования альтернативного будущего в масштабах общества; 4) борьбу за поддержку социумом своей альтернативности.

⁴³ *La Palombara D., Weiner M. The origin and development of political parties // Political Parties and Political Development / eds. D. La Palombara, M. Weiner. — L., 1966. — P. 8–21.*

Мы видим, что эти элементы в значительной степени отражают те функции, которые организованная часть альтернативности выполняет в отношении как ее стихийной части, так и в своих отношениях с системой существующего ценностно-целевого доминирования. Первый элемент выполняет интерпретационные задачи и предлагает модели поведенческой организации второй направлен на практическое осуществление интеграции и организацию поведенческого пласта; третий выполняет основную внешнюю функцию, в частности — осуществляет «функцию выхода»; четвертый — «функцию входа» и обеспечивает поведенческую интеграцию.

В этом отношении мы можем сказать, что субъективированная альтернативность всегда выступает как авангард и выразитель интересов того или иного класса либо иного крупного социального образования, сформулированный прежде всего в работах В. И. Ленина⁴⁴. Действительно, здесь в полной мере отражены рассматривавшиеся ранее функции организованной части альтернативности. Что интересно, этот подход вне зависимости от отношения к марксизму остается наиболее признанным и в современной партологии.

⁴⁴ См. прежде всего: *Ленин В. И. Проект и объяснение программы социал-демократической партии // Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т. 2. — С. 81–90; Он же. Что делать? // Там же. — Т. 6. — С. 1–192; Он же. Шаг вперед, два шага назад // Там же. — Т. 8. — С. 185–414; Он же. О смещении политики с педагогикой // Там же. — Т. 10. — С. 385–388; Он же. Социалистическая партия и беспартийная революционность // Там же. — Т. 12. — С. 133–141; Он же. Опыт классификации русских политических партий // Там же. — Т. 14. — С. 21–27; Он же. Политические партии в России // Там же. — Т. 21. — С. 275–287; Он же. Пролетарская революция и ренегат Каутский // Там же. — Т. 37. — С. 101–110; Он же. Третий Интернационал и его место в истории // Там же. — Т. 38. — С. 301–309; Он же. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Там же. — Т. 41. — С. 1–104; Он же. Первоначальный проект Резолюции X съезда РКП о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии // Там же. — Т. 43. — С. 85–86.*

Учитывая положения С. Липсета⁴⁵, высказанные им в книге «Политический человек», мы можем сказать, что при любой системе проектной политической конкуренции конфликт между различными группами выражается через противостояние альтернативных субъективированностей, которое в основном представляет «демократическое выражение» классовой борьбы. Те или иные субъективированные альтернативности даже если и отвергают принцип классового конфликта или лояльности, на деле всегда будут их носителем, и анализ их призывов и их поддержки говорит о том, что они представляют интересы различных классов... В каждой экономически развитой стране низкодходные страты поддерживают левые альтернативности, в то время как высокодходные — правые. Точно так же, учитывая его положения⁴⁶, мы можем сказать, что, несмотря на огромное различие в существующих континентальных конкурирующих проектных системах, класс и религия являются, похоже, преобладающими источниками различия между субъектностями альтернатив, и люди с более низким доходом и статусом ассоциируются с поддержкой проектностей, источником своим имеющие связь с рабочим классом.

Соответственно, можно сказать, что, как отмечает Эльдерсфельд, альтернативная субъектность «есть структурная система, стремящаяся перевести или обратить социальные и экономические интересы непосредственно в политическую власть», поскольку она «состоит из совокупности социально-экономических интересов, ищущих политического признания, выражения и контроля»⁴⁷.

⁴⁵ *Lipset S. Political Man.* — New York: Doubleday and Company, 1960. — P. 223–224.

⁴⁶ *Political Cleavages in «developed» and «emerging» politics // Cleavages, Ideologies and Party Systems Contributions to Comparative Political Sociology.* — Turku, 1995. — P. 37.

⁴⁷ *Eldersveld S. Political Parties. A Behavioral Analysis.* — Chicago, 1964. — P. 6.

Той же точки зрения придерживается Дж. Брайс⁴⁸, исследовавший американские конкурентности, и в соответствии с его подходом можно признать, что причины возникновения субъективированных конкурирующих альтернативностей в Европе со времени введения представительной формы правления были немногочисленны. Они заключались чаще всего во вражде между социальными группами и разным видении их перспективных целевых установок, хотя нередко внешне носили характер споров о характере реализации права участия в подаче голосов или каких-нибудь гражданских прав. Альтернативно-проектное деление общества есть выражение имущественного деления общества, и классовый подход исходно можно считать ведущим при их исследовании. Однако это же предполагает и его известные ограничения, т. е. ограничения сферы его применения, если мы сталкиваемся с социумом, в котором еще не сложилось новое классовое деление, а альтернативные субъектности в силу тех или иных причин уже возникли.

В общем виде можно выделить как минимум две ситуации, когда возникновение субъектов альтернативности опережает возникновение или развитие соответствующего класса. Первая — когда альтернативность субъективируется под известным влиянием опыта более развитых стран. Здесь можно увидеть как ситуацию, когда по примеру этих стран группы активистов и идеологов создают субъективированности альтернатив в развивающихся обществах, где интересы, на выражение которых объективно могли бы претендовать эти альтернативности, еще не сложились, т. е. наследование альтернатив осуществляется на основании смежного исторического опыта, так и ситуацию, когда, как в России конца XIX — начала XX в., этот класс и этот интерес уже существовал, но еще не был вполне самоидентифицирован.

В первом случае субъективированная альтернативность для своего успеха вынуждена искать некую иную социальную опору,

⁴⁸ Брайс Дж. Американская республика. — М., 1980. — Ч. II. — С. 6–7.

подсказываемую ей принятым ценностно-целевым полаганием в рамках органичной для нее теории исторического развития, во втором перед ней встает задача выступить организатором и ускорителем процесса самоорганизации и самосознания класса, от имени которого она выступает.

Вторая ситуация связана с условиями конца XX в., когда в ряде социалистических стран произошли политические и начались экономические метаморфозы, связанные со сменой социалистического строя на капиталистический. В этих странах в той или иной степени (в наибольшей — в СССР) было сформировано относительно социально однородное общество, и субъективированные альтернативности, вновь образующиеся либо продолжающие свое существование, оказались в положении, когда они должны были апеллировать к долговременным интересам еще не образовавшихся классов.

В этом случае они оказались образованиями, формирующимися на основании иных, доклассовых и неклассовых разделений, т. е. должны были в каком-то смысле повторить прежний генезис субъективирования альтернатив и на первый план неизбежно должны были выйти иные основания их возникновения, также уже зафиксированные историей.

Тот же Дж. Брайс выделяет и другие причины возникновения субъективированных альтернатив применительно к Европе: «Также значительную роль играли вопросы касательно землевладения и религий, вражда между различными расами и споры о преимуществах монархической или республиканской формы правления», и к США: «Всякая группа избирателей, назначающая своего собственного кандидата на должность президента или вице-президента Соединенных Штатов, считается национальной партией»⁴⁹.

К. фон Бейме, например, выделял в качестве самостоятельной группы «институциональных теорий», в которых происхож-

⁴⁹ Брайс Дж. Американская республика... — С. 304, 342.

дение субъективированных альтернативностей связывается с развитием парламентских систем и избирательных процедур⁵⁰.

Можно сказать, что Д. Сартори, например, определял субъективированную альтернативность как «любую политическую группу, которая активно участвует в выборах и, таким образом, проводит своих представителей в государственные учреждения»⁵¹. По мнению К. Лоусона, это альтернативность, «стремящаяся всеми способами, посредством или помимо выборов продлить полномочия, делегируемые народом ее представителям. Насаждая власть государственных интересов, они при этом могут утверждать, что выполняют волю народа»⁵².

Строго функциональные и институциональные роли субъективированных альтернативностей партий в этих странах с новыми парламентскими системами остаются затребованными. Д. Эптер, указывая, что первичной функцией является победа на выборах, отмечает, что субъективированные альтернативности «представляют собой связующее звено между общественностью и правительством». Альтернативность создает коалиции целеполаганий и представлений о желаемом будущем, которые поддерживают большинство людей. Конкурируя между собой, эти альтернативности целеполагания и образов будущего делают систему работающей⁵³. Р. Макридис, отмечая способность субъективированных альтернативностей выражать социальные интересы, называет их главной функцией «обеспечения непосредственного политического средства выражения и распространения интереса, который она представляет», связывает

⁵⁰ *Bevme K. On Political Parties in Western Democracies.* — Aldershot, 1985. — P. 15.

⁵¹ *Sartori G. Party and Parry System.* — N. Y., 1976. — Vol. 1. — P. 64.

⁵² *Lavvson K. The Comparative Study of Political Parties.* — N. Y., 1976. — P. 3–4.

⁵³ *Apter D. Introduction on Political Analysis Cambridge (Mass).* — 1977. — P. 157.

ее с «функцией превращения»: трансформация того, что можно назвать сырым материалом политики — интересы и требования, в саму политику и решения. Как наш организм превращает углеводы в энергию, так субъективированная альтернативность превращает интересы в политику⁵⁴.

Отчасти актуальным оказывается замечание Ж. Блонделя применительно к колониальным странам, где субъективация альтернативностей различается по племенному, этническому признаку, которое предполагает, что данные альтернативности «могли возникнуть, например, если существовали конфликты между племенами или между этническими группами внутри одной и той же страны, как в Нигерии, Гане и многих других африканских странах». Он упоминает и религиозно образованные альтернативности⁵⁵.

То есть не выражая за их отсутствием классовых интересов, субъективированные альтернативности выразителями начал, по которым в обществе уже сложились определенные расколы, в частности позиции политических фрагментов общества, сформировавшихся в противостоянии прежней системе.

Еще Д. Юм предлагал деление, которое мы вполне можем использовать для деления возникающих субъективированных альтернативностей: 1) на почве общего интереса — альтернативности «по интересам»; 2) на привязанности к тому или иному лидеру строятся альтернативности «по аффектам»; 3) на основе общих принципов создаются субъективированные альтернативности «по принципам». При неоформленности новых интересов на первый план выходит образование альтернативности по аффектам и по принципам.

Учитывая замечания М. Дюверже, можно признать, что достаточно часто весь диапазон альтернативностей складывается

⁵⁴ См.: Political Parties: Contemporary Trends and Ideas. — N. Y., 1997. — P. 17.

⁵⁵ *Blondel J.* Political Parties. — London, 1978. — P. 13–14.

в основном посредством действия предшествующих им институтов, собственная деятельность которых протекает за пределами парламента и выборов; «в этом случае можно с полным основанием говорить о внешнем происхождении»⁵⁶, что вполне можно отнести как к так называемым «партиям-преемницам», так и к новым партиям, в большинстве возникшим на базе наследования старого актива прежних правящих партий.

И в случае с альтернативностями «по аффектам», и в случае с альтернативностями «по принципам» мы, как представляется, сталкиваемся со своего рода субъективированными альтернативностями с их «неполной ролью». Первые требуют для своего существования либо неких «нотаблей», повторяя в этом отношении путь классических «кадровых партий», либо неких долговременных не вполне рационализированных массовых настроений. И то и другое в условиях, как правило, кризисного или полукризисного трансформационного развития не оказывается долговременным. Вторые, отражая некие мировоззренческие и идеологические принципы, повторяют во многом судьбу «идеологических партий», описанных М. Вебером, для которых принцип доминирует над целесообразностью и которые, если они не трансформируются в реальные социально-политические субъекты действия, в большинстве случаев не играют существенной политической роли.

Неполная роль заключается в том, что альтернативности возникают вне массовой основы за исключением случаев, когда такой основой становятся существующие доклассовые расколы — национальные, религиозные, по линии «центр – периферия», «город – деревня».

Однако поскольку институциональный запрос, особенно в рамках парламентских систем, есть, участники политической жизни встают перед проблемой поиска той социальной среды, которая, по идее, должна их формировать. В результате арти-

⁵⁶ Дюверже М. Политические партии. — М., 2000. — С. 27, 29.

куляция и агрегация интересов, которую должен выполнять субъект альтернативности для обеспечения массовой поддержки, выстроена не от исходной матрицы к политическому выразителю, а противоположно — перед образуемыми протосубъектами встает задача найти свою среду.

Встает проблема актуализации существующих расколов или намеков на расколы, причем субъект альтернативности может быть образован одним из них (раскол по принципам), но социальную поддержку найти в другом, более широком.

1.2.2. Наследующая субъектность как продукт раскола

Согласно вполне целостной «генетической» модели, предложенной С. М. Липсетом и Ст. Рокканом, практически вся конфигурация современных субъектов альтернативности определяется наследованием альтернатив, определенных четырьмя критическими точками Нового времени: 1) реформация (XVI–XVII вв.); 2) национальная революция (период начиная с 1789 г.); 3) промышленная революция (XIX–XX вв.); 4) революция в России (1917 г.) — и четырьмя образовавшимися в результате расколами, ставшими основой создания партий: 1 — между центром и периферией; 2 — государством и церковью; 3 — городом и деревней; 4 — работодателями и рабочими. Образовавшаяся точка раскола, по роккановской модели, рождает движение в рамках следующей схемы: критическая точка — раскол по какому-либо важному основанию — артикуляция проблем — возникновение проектной альтернативности⁵⁷.

Сегодня к четырем названным критическим моментам мы с полным основанием можем добавить пятый — кризис и поражение социализма в конце XX в. в СССР и странах Восточной Европы. Поскольку итогом его стало возвращение в этих странах к предыдущему общественному устройству, мы пока можем говорить не

⁵⁷ *Lipset S. V., Rokkan S. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives.* — N. Y., 1967.

столько о возникновении новой линии раскола, сколько о «снятии снятия» предыдущих расколов и об их вторичной актуализации, однако в новых проявлениях, но как бы сконцентрированных во времени. Если два из расколов — между центром и периферией, между городом и деревней — выступают в относительно традиционной форме, хотя и с разной силой (первый обретает характер кризиса целостности и в многонациональных устройствах выливается в радикальные формы вплоть до гражданских войн, второй обретает спокойные и институализированные формы создания аграрных партий), то два других приобретают измененные черты.

Если исторический конфликт между церковью и государством представить в более общем виде как «раскол по вере», можно сказать, что в названной пятой критической точке, образуемой ролью, которую играла идеология в ряде стран, он выступает как идеологический раскол между теми, кто наследует прежнюю ценностно-целевую модель и видение будущего, и теми, кто от него отказался.

Прежний конфликт между рабочими и работодателями тоже проявляется не в привычной форме, поскольку он оформляется не одномоментно, а в более общей форме конфликта вокруг экономических условий существования.

Собственно говоря, все эти конфликты являются проявлением раскола по отношению к происходящим изменениям, т. е. акта борьбы за позитивное или негативное наследование будущего. Однако скорость образования субъектов альтернативности, выражающих на политическом уровне этот раскол, оказывается различной, что обусловлено двумя обстоятельствами.

Первое, общее, заключается в том, что вектор движения от прежнего устройства к предыдущему выражают правые альтернативности, вектор реакции на это движение — левые. Однако, как отмечал тот же М. Дюверже, если соответствующим образом интерпретировать его систему, субъективированные альтернативности, т. е. наследующие субъектности, «всегда остаются более развитыми слева, чем справа, поскольку они всегда более

необходимы на левом фланге, чем на правом»⁵⁸, в силу большей возможности правых отстаивание своих интересов.

Второе — в том, что левые субъекты наследования в данном случае имеют большие организационные предпосылки, переходящие в том или ином виде от прежних доминировавших субъективированностей. Собственно говоря, его (М. Дюверже) постановка вопроса предполагает, что вопрос представляет не один только исторический интерес: все субъекты наследования испытывают сильнейшее влияние своего происхождения подобно тому, как люди всю жизнь несут на себе печать своего детства. «Невозможно, к примеру, понять структурное отличие, разделяющее британскую лейбористскую и французскую социалистическую партии, не зная обстоятельств их рождения. Нельзя серьезно анализировать французскую или нидерландскую многопартийную и американскую двухпартийную системы, не обращаясь к происхождению партий в каждой из этих стран — именно здесь мы найдем объяснение тому факту, что в одних странах они множились, а в другой сокращались»⁵⁹.

При этом реакция «верующего» сегмента общества на отказ от прежней ценностно-целевой мотивационной системы опережает во времени реакцию широких социальных образований на проводимые трансформации. Если в обычных обстоятельствах движение по схеме «критическая точка — раскол по какому-либо важному основанию — артикуляция проблем — возникновение политических альтернатив»⁶⁰ предполагает, что альтернативность образуется как продукт социальной реакции, когда она артикулирует социальный интерес, то в описанной ситуации она артикулирует сначала «интерес веры», опережая артикуляцию социального интереса. Поскольку идеологическое выражение

⁵⁸ *Duverger M. Political Parties.* — N. Y., 1963. — P. 225.

⁵⁹ *Дюверже М. Политические партии...* — С. 20–22.

⁶⁰ *Lipset S. V., Rokkan S. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives.* — N. Y., 1967.

здесь не следует за социальным интересом, а опережает его, при том что на уровне выражения глубинного социального интереса они родственны, постольку артикуляция «раскола по вере» предсказывает и артикулирует социально-экономический раскол, вместе с тем обладая несколько иной природой.

Создается ситуация, когда возникающая (или наследуемая) субъектность как организованная часть оформляющейся альтернативности по сути представляет иной раскол, но, возникнув раньше, замещает возможное образование субъективации альтернативности более широкого раскола.

Эта субъективированная «альтернативность веры» заведомо имеет достаточно узкое основание в силу априори меньшей роли «верующего сектора» в общей массе, и встает задача нахождения массовой базы. Как отмечал М. Дюверже: «Привлечение новых членов представляет для нее фундаментальную потребность с двух точек зрения — политической и финансовой. Она стремится, прежде всего, осуществить политическое воспитание рабочего класса, выделить в его среде элиту, способную взять в свои руки правительство и управление страной, ... таким образом, составляют саму ее основу, субстанцию ее деятельности. Без членов партия представляла бы собой учителя без учеников. С финансовой точки зрения, она в основном опирается на членские взносы, уплачиваемыми ее членами»⁶¹.

С другой стороны, позже возникающее социальное основание в ней находит возможность «сокращения затрат» на обретение агрегатора своих устремлений. Как писал Ф. У. Паппи: «Начиная с Даунса идеология обсуждалась как один из возможных способов получения информации с наименьшими затратами. Такое использование идеологии нельзя путать с идеологическим мышлением в смысле “политической искусности”»⁶². В резуль-

⁶¹ *Duverger M. Political Parties.* — N. Y., 1963. — P. 84–90.

⁶² *Panni Ф. У. Политическое поведение: мыслящие избиратели и многопартийные системы // Политическая наука новые направления /* Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. — М., 1999. — С. 271.

тате артикуляция «раскола по вере» доминирует над артикуляцией социально-экономического раскола. В этом случае данная субъективированная альтернативность оказывается не политическим оформлением социального интереса, а самостоятельным социокультурным образованием. Как совмещенная реакция на два смежных раскола, образованных в процессе трансформации, оппозиция приобретает черты своего рода традиционализма, выступающего согласно «классической», манхеймовской интерпретации как неотрефлексированная массовая реакция низов на изменения социума, акт субъекта наследования. Или иначе: это нерелексивный «естественный консерватизм», противопоставленный консерватизму как «объективной мыслительной структуре»⁶³.

Возникает некий парадокс, когда «раскол по вере», отражая идеологическое противостояние, т. е. высокую рефлексию противостояния, носит форму неотрефлексированной реакции. В этом плане носители защищаемой «веры» объектом своей защиты в первую очередь имеют символы и ценности этой веры⁶⁴. И этот интерес на первом уровне удовлетворяется отстаиванием права на исповедование этой веры и признания права на существование этих ценностей в условиях как имеющих право на существование, когда утверждение новой властной системы базируется на их отрицании. В результате образующиеся субъекты наследования альтернативности, основанные на коллективных стимулах в условиях, когда селективные в принципе не выступают мотивами такой организации, видя свой интерес не в социально-экономическом, а в социокультурном пространстве.

Но защита наследования социокультурного пространства сама по себе не требует завоевания власти и использования ее

⁶³ Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М., 1994. — С. 593.

⁶⁴ Например, организация неформального коммунистического движения в 1991 г. началась с акций защиты Музея и Мавзолея В. И. Ленина в августе–сентябре того же года.

в социально-экономических целях. Собственно, организующаяся в субъект альтернативности группа тяготеет не к политическому, а к конфессиональному объединению, но избирает данную политическую форму не столько для выполнения ее основной задачи — борьбы за директивное доминирование, сколько как наследование привычной и подсказанной прежним опытом существования.

Если рассмотреть ценность как во многом интуитивно и априорно принимаемое начало, удовлетворяющее неосознанную нематериальную потребность, а социально-экономический интерес — как в той или иной степени осознание и осмысление потребности, связанной с той или иной степенью дискомфорта экономического существования, мы можем отметить как минимум два уровня их различения.

На первом ценностная потребность прежде всего выступает как не требующая для своего удовлетворения непосредственно изменения окружающего мира, тогда как социально-экономический интерес требует его изменения.

На втором ценностная потребность, соответственно, не требует напрямую проекта преобразования мира и овладения политическими и экономическими рычагами его изменения, тогда как они присущи удовлетворению социально-экономического интереса.

Ценность утверждается в первую очередь принятием внутренней саморегламентации, мир интересен для нее прежде всего как «оцениваемый», устранение несовершенства является отстраненной целью-пожеланием, социально-экономический интерес удовлетворяется изменением экономического бытия мира, последний интересен именно как изменяемый.

В первом случае субъект отрицает законы мира, предлагает ему принять новые, утверждая их в первую очередь ритуалом их соблюдения, во втором — принимает законы мира с тем, чтобы по ним организовать действие по его преобразованию.

В любом случае принятая форма диктует социокультурному образованию политическое действие, ориентированное

в окружающий мир, поскольку только в этом случае оно может быть воспринято как субъективированная альтернативность.

С этой точки зрения можно выделить три характерных отличия между социокультурным образованием, принявшим форму субъективированной альтернативности (социокультурная альтернативность), от собственно субъекта альтернативности: 1) по принимаемой роли действия; 2) по отношению к результату; 3) по исходной конструкции действия.

В первом отношении «социокультурная альтернативность» отличается от самой субъективированной альтернативности тем, что первая, осуществляя формально политическое действие, видит в нем прежде всего обязательный ритуал, символически утверждающий ее ценности, тогда как вторая осуществляет его как необходимое средство воздействия на мир.

Во втором отношении «социокультурная альтернативность» не ориентирована на достижение политического результата, он для нее вторичен, важен процесс исполнения ритуала, тогда как для субъективированной альтернативности важен достигаемый результат, важна реализация интереса.

В третьем отношении «социокультурная альтернативность» строит действие как часть своей «веры», овеществление своей аксиологии. При этом действие оценивается и организуется не по его практической эффективности, а по соответствию символическим и ценностным началам, по законам «своего» мира. Субъективированная альтернативность строит и оценивает действие с точки зрения эффективности, по законам подлежащего изменению мира.

Таким образом, сильной стороной «социокультурной альтернативности» оказывается способность продолжать действие в ситуации, с точки зрения здравого смысла выглядящей как безнадежная — и в этом отношении она может приобретать авторитет экзистенциального порядка, но это преимущество сказывается лишь в пограничных ситуациях. Она оказывается подчас особо сильна в проигрышных ситуациях, ведя оборони-

тельные политические действия, но практически лишена шансов на успешное завершение борьбы, когда в повестку дня встает необходимость наступления.

Собственно субъективированная альтернативность лишена и этих слабостей, и этих преимуществ, но отсутствие последних способна компенсировать способностью выйти за свои рамки, подчинять свои аффекты интересам цели, используя законы и противоречия противостоящего ей мира, способна вторгаться в него и использовать свои слабости для достижения своих целей.

1.2.3. Субъект альтернативного наследования и поле стихийной альтернативности

При рассмотрении ситуации, когда субъект альтернативного наследования и его возможная массовая база образованы двумя расколами: «по вере» и социально-экономическим расколом, возможны два варианта. Первый — представляющий меньший интерес, когда они не родственны, т. е. первый раскол не отражает в своей сути второго. Интеграция образуемых составных частей альтернативности возможна лишь как случайная и в принципе вряд ли может обладать устойчивостью. Второй — как это происходит в ситуации, когда они связаны с одним, в сущности, процессом, и первый раскол в снятом виде опережает второй, макросоциальное основание их одинаково, но актуализированное различно. Именно он и представляет основной интерес для данного исследования.

Субъектно-альтернативное по форме и социокультурное по природе образование является носителем ценностноцелесолагания, которое отражает и предсказывает последующий социально-экономический раскол. Создается пространство их интеграции. Выше говорилось о трех уровнях интеграции, присутствующих в феномене альтернативности: социальном, интерпретационном и поведенческом.

По идее принимаемая альтернативностью идеология формируется как интерпретация наличного социального интереса и должна выливаться в политическое поведение, направляемое субъектом альтернативности. В рассматриваемом нами случае исповедуемая идеология и социальный интерес совпадают лишь в снятом виде. Интерпретация, осуществляемая «социокультурной альтернативностью», направлена в первую очередь на представление своего социокультурного интереса и охватывает социально-экономический интерес лишь в меру своего исторически случайного совпадения. Поэтому для такой альтернативности идеологическое начало оказывается первичным, а социально-экономическое — вторичным. Субъект альтернативности не борется за поддержку массы, он «предоставляет» право массе поддерживать его, не стремясь увидеть в ней того «другого», о принятии которого шла речь при рассмотрении аспектов герменевтики.

С одной стороны, наличие у альтернативности уже готовой идеологии, объективно отражающей социально-экономический раскол, является ее сильной стороной, но сильной стороной лишь в потенции, при готовности превратить идеологию из основания раскола в инструмент актуализированной интерпретации. С другой стороны, поскольку она является для данного образования изначально не инструментом интеграции раскола, а основанием раскола и абсолютизированным символом, социально-экономический интерес оказывается для нее важен лишь постольку, поскольку он служит аргументом в борьбе за это основание. Но поскольку оно произвольно признано базовым, вся интерпретационная деятельность оказывается смещена с социально-экономического объекта на объекты социокультурные. Субъект альтернативности начинает работать на интерпретацию и оформление не классовых, а доклассовых идентификаций.

Интеграция оказывается неполной, поверхностной. Вместо того чтобы экономический интерес был интерпретирован идеологией, и идеология, и интерес интерпретируются внешними

относительно случайными началами, в первую очередь тем образом внешнего ценностно-целевого доминирования, который ущемляет оба эти интереса.

Пока этот образ сохраняется в прежнем виде, альтернативность обладает возможностью осуществлять интеграцию со стихийным началом и на поведенческом уровне, но последняя оказывается произвольной, относительно случайной. Она направлена не на противодействие социально-экономической сущности существующего доминирования, а на противодействие его образу, в первую очередь — социокультурному. Альтернативность здесь оставляет существующему доминированию возможность маневра: не отказываясь от социально-экономической сущности, сменить социокультурный образ, перехватить интерпретационные рычаги и повернуть поведение масс в своих интересах.

При отсутствии полноценной интеграции субъективированности и стихийной альтернативности в обществе оформляются три уровня альтернативности: уровень «веры», социокультурный, масштаб которого выражается числом граждан, принимающих основные символы-ценности данной идеологии, уровень «стихийной идеологии», выражающийся в числе граждан, разделяющих базовые социально-экономические требования, присущие данной альтернативности, но не олицетворяющие последние с ней напрямую (например, требование национализации банков и крупной промышленности), и уровень интегрированного данным субъектом и данной идеологией поведения (например, число голосующих за данную альтернативность в данный момент).

Первый уровень — это параметры раскола «по вере». В нем можно отметить несколько проявлений:

- 1) характеризует число собственно принимающих данную альтернативность в ее символических проявлениях и масштаб собственно «социокультурного интереса», выражаемого субъектом альтернативности в данный момент (социальный уровень данного раскола);

2) характеризует масштаб охвата общества предлагаемыми субъективированной альтернативностью смысловыми полями (интерпретационный уровень);

3) характеризует уровень прямой поведенческой интеграции, достигнутый субъектом альтернативного наследования, число тех, кто готов в любой ситуации, вне зависимости от представления об эффективности действия, поддержать ее как минимум в наиболее доступных формах политического поведения — например, проголосовать за нее в любой ситуации, вне зависимости от предлагаемой ею программы, качеств лидеров и умелости предвыборной агитационной кампании. Это электоральное ядро партии (поведенческий уровень).

Второй уровень альтернативности — параметры собственно социально-экономического раскола. Он также включает проявления разного уровня:

1) охватывает тех, кто непосредственно страдает от существующей экономической реальности и желает установления сущностных условий своего привычного существования (социальный уровень);

2) выражает степень стихийной самоинтерпретации социального интереса, достигнутого в рамках самостоятельного осознания интересов без непосредственного воздействия субъективированной альтернативности (интерпретационный уровень);

3) характеризует масштаб стихийной альтернативности существующей системе, максимальные параметры социального начала, потенциально способного составить мобилизационный ресурс альтернативности в случае достижения полной интеграции ее организованного и стихийного начала (поведенческий уровень).

Третий уровень альтернативности — это в данный момент достигнутая степень интеграции оснований раскола «по вере» и раскола по социально-экономическому интересу. Суть его проявляется: 1) в совокупности целевых ориентаций; 2) позна-

вательных и оценочных составляющих, степени приобщенности к альтернативной аксиологии; 3) факторах, определяющих содержание политической культуры: социализация, степень воздействия СМИ, опыт политических контактов и т. д.; 4) воздействии политической культуры на развитие и функционирование альтернативных структур разного уровня, но без однозначной детерминации их деятельности, взаимозависимости этих составляющих, выявление характера которой может быть осуществлено, в частности, в рамках теории Т. Парсонса⁶⁵ (концепции роли и ориентации на политическое действие). Его проявления:

1. Охватывает тех, кто связывает возможность ликвидации своей некомфортности с замещением существующей реальности альтернативной. Достигнутая интеграция раскола «по вере» и социально-экономического раскола, выражающаяся в параметрах политического раскола в обществе: принятие-непринятие существующей реальности (социальный уровень).

2. Характеризует степень достигнутой партией эффективности интерпретации базовых интересов стихийного начала предлагаемым ею инструментарием, степень социокультурного совпадения самоинтерпретаций начал альтернативности и степень готовности стихийной части подчинить свои интерпретации интерпретациям родственного раскола (интерпретационный уровень).

3. Число проявляющих активную поведенческую поддержку альтернативности в данных конкретных условиях. Показывает реальное политическое влияние субъективированной альтернативности, ее организационный потенциал, ее субъективные мобилизационные возможности «перевода латентной альтернативности в манифестируемую форму» — это «процесс увеличения готовности к «коллективному поведению» посредством обеспечения лояльности той или иной группы к организации

⁶⁵ Назаров М. М. Политическая культура российского общества... — С. 11.

или группе лидеров»⁶⁶, а также степень близости политической культуры представителей названных расколов (поведенческий уровень).

При этом, по идее, представители раскола «по вере» тяготеют к политической культуре «участия», поскольку как минимум воспринимают себя в качестве «знающих и свободных» и отчасти являются таковыми, поскольку они свободно, на основе своего достигнутого понимания вещей, избрали сохранение веры в условиях ее отторжения обществом, причем эта вера предполагает некое направленное вовне действие.

Представители раскола социально-экономического, стихийной части оппозиции тяготеют к культуре «параойхиальной», поскольку их позиция — лишь сугубо бытовое отторжение устанавливающихся некомфортных условий. По идее, объективно субъект альтернативного наследования должен стремиться интегрировать их в культуре участия, в осознании и отстаивании своих интересов (интеграции социальных интересов на интерпретационном и поведенческом уровнях).

Однако мы можем обратить внимание, что близость культуре «участия» для них является внешним, формальным. Как и стихийная составляющая, они исходят не из осмысления социальных интересов, а из бытового (только психологического) дискомфорта, рожденного ущемлением их веры, а потому одновременно несут параойхиальное, конфессиональное начало, культуру «религиозного прихода». Соединяясь, эти две стороны приобретают характер культуры «подданного», где сувереном выступает не власть, но «вера». В результате их интеграция стихийного начала придает ему не характер «участия», а характер «подданничества», но другого типа, в котором субъективированная альтернативность принимается как ситуативный суверен, который поддерживается постольку, поскольку способен

⁶⁶ Скакунов Э. И. Политическая оппозиция в период модернизации в России // Социологические исследования. — 1999. — № 8. — С. 15.

выполнить взятые на себя обязательства устранения дискомфорта. Оказываемая ей поддержка условна, но, принимая саму роль «подданного», интегрированный компонент обживает ее и готов смириться с ней, оставив себе свободу смены суверена.

Неполная интеграция двух разных, хотя и родственных расколов, оборачивающаяся и неполной интеграцией субъективированной и стихийной части альтернативности, создает альтернативный субъект в некой превращенной форме.

«Социокультурная альтернативность», придающая ему свои превращенные черты, отличается от собственно субъективированной альтернативности, среди прочего, тем, что: 1) борьба за доминирование оказывается для нее не средством обеспечения господства и проведения своей стратегической линии, а лишь ритуалом соответствия принятой форме; 2) она не ведет реальную борьбу за поддержку социума и лишь «предоставляет» последнему право ее поддерживать. Но исключение этих двух компонентов из классического определения Ла Паломбары⁶⁷ придает образуемому субъекту черты начала движения альтернативы протестности как недовольства, а не субъективированной альтернативности: «Общественное движение представляет собой коллективное образование, действующее в течение достаточно длительного времени. Его цель — содействие или сопротивление социальным изменениям в обществе или группе, частью которой оно является», — пишут А. Тернер и Л. Киллиан⁶⁸.

В таком качестве данный «превращенный субъект» оказывается менее устойчивым и может быть описан моделью цикла существования политического движения, предложенной Е. Вятром. Последняя включает: 1) создание предпосы-

⁶⁷ *La Palombara D., Weiner M. (eds.). The origin and development of political parties // Political Parties and Political Development. — L., 1966. — P. 8–21.*

⁶⁸ *Turner R., Killian L. Collective behavior. — N. Y., 1972. — P. 308.*

лок движения; 2) стадию артикуляции стремлений; 3) стадию агитации; 4) стадию развитой политической деятельности: проведение программ в жизнь, борьба за власть или оказание давления на правительство; 5) стадию затухания политического движения: достижение целей или признание их неосуществимости⁶⁹.

Предрасположенность к затуханию вызвана неполной интеграцией альтернативного субъекта. В ситуации полной интеграции, базирующейся на общем интересе и принятии их интерпретации, субъективированная альтернативность продолжает борьбу, пока не удовлетворен базовый интерес. При неполной, базирующейся на социокультурном родстве, поддержка удерживается, пока сохраняется легитимность представительства субъектом альтернативности социокультурного начала. Но эта легитимность может быть замещена другой, если существующая доминирующая директивность, не отказываясь от экономической сущности, предстает как хотя бы внешне более легитимное выражение притягивающего социокультурного образа. Скрепив массовую поддержку на социокультурных и «доклассовых» основаниях без последовательной интерпретации базового экономического интереса, такой субъект альтернативности сам указывает власти путь переинтеграции поддерживавшего его начала и представляет рычаги перехвата влияния.

В этом случае социокультурный интерес выступает как достигнутый, но благодаря не альтернативности, а налично существующей системе, которая и предстает как новый, более могущественный, а потому более легитимный суверен, раскол «по вере» сохраняется, социально-экономический раскол также сохраняется, но их интеграция в социокультурном расколе устранена, и вся интеграционная работа, проделанная субъекти-

⁶⁹ Вятр Е. Социология политических отношений. — М., 1979. — С. 319–320.

вированной альтернативностью, становится работой по созданию более прочных механизмов господства не сменившей своей социальной сущности системы.

Стадии, вышеописанные в модели Е. Вятра, при интерпретации их через приведенные в предыдущем разделе три системные роли альтернативности могут выглядеть так: 1) стадия предпосылок движения (собственно расколы), артикуляция, агитация — фаза образования альтернативности, конституирования ее субъективированности и интеграции стихийной альтернативности, т. е. интеграции в массовую поддержку требований субъекта альтернативности; 2) обретение альтернативностью характеристик соразмерности существующей данности, начало масштабного противостояния с ней (в условиях интеграции на социокультурных основаниях эти две стадии образуют фазу внесистемного противостояния. Включение за счет достигнутого масштаба в систему властных отношений, превращение в потенциал внутрисистемной борьбы за ценностно-целеполагающее и директивное доминирование) — фаза максимального системного влияния; 3) господствующий субъект, проигрывая социокультурное противостояние, оказывается перед выбором: принять установки альтернативности либо присвоить социокультурные начала ее интеграции, выступив более успешным организующим началом этого интереса, включив его в основания своего доминирования. Альтернативность либо побеждает во внутрисистемной борьбе и меняет (либо использует) существующую систему, либо лишается рычагов интеграции и вступает в стадию затухания своего влияния; 4) она оказывается перед выбором: смириться со своим исчезновением, признать свое подчиненное и вспомогательное положение в оформленной системе на схожих с ней социокультурных интегрирующих моментах либо принять роль уже антисистемной оппозиции, переместив центр интерпретации с социокультурного на социально-экономический.

1.3. Деятельностные аспекты наследуемого конструирования

1.3.1. *Альтернативность versus беспроектность*

Для того чтобы наследование будущего могло быть распространено в длительности, его альтернативность (точнее — субъективированная альтернативность) требует распространения на ту субъектную либо протосубъектную среду, которая может выступить реципиентом альтернативного наследуемого будущего в собственно ближайшем как минимум будущем настоящего. То есть речь идет о своего рода «молодежной политике» альтернативности. Но для ее проведения и передачи наследования этот субъект наследования и эта альтернативность должны, прежде всего, сами представлять, каким они хотят видеть своего будущего носителя и ретранслятора, точнее, какое место они для него отводят в своем видении политической и социальной системы, будущего в целом.

В этом отношении старый комсомол, во многом по факту сегодня политически реабилитированный после дискредитации конца 1980–1990-х гг., был действительно не только великолепно организованной системой, но и системой уникальной и крайне успешной. Включая молодежь в систему ценностных предпочтений наследования будущего, он оказывался не только средством воздействия на объект, т. е. молодежь, но обладал чертами субъектности, включая ее в социальное действие и в самом этом действии формируя его навыки, социализируя личность и являясь эффективным средством вертикальной мобильности.

То есть комсомол как бы сам являлся моделью общества, включенным в его аксиологию и в его практику, причем при сознательном предоставлении ему повышенной роли в социально-политической действительности. Он, с одной стороны, выполнял функцию агрегации интересов определенной социальной группы, их артикуляции, воспроизведения латентного образца и даже обладал некоторыми полномочиями в определении целе-

полагания если не на глобальном стратегическом уровне, то, во всяком случае, на уровне некоторого участия в выработке среднесрочных и краткосрочных проектов. В результате он выступал своего рода тренировочной площадкой, пройдя которую, индивид социализировался и приобретал управленческие и политические навыки. При прочих равных человек, прошедший работу в комсомольском активе, всегда более успешно делал карьеру и осуществлял профессиональную самореализацию по сравнению с тем, кто этой работы не прошел, причем даже не столько в силу приобретения определенных «анкетных» характеристик, сколько в силу просто большей развитости своих социальных навыков. Причем даже при изменении социально-политической реальности с началом 1990-х гг. его вчерашние активисты оказались способны успешно вписываться в новые условия как на стороне этой новой реальности, так и в оппозиции ей.

Молодежная политика, т. е., точнее определяя, «политика ретрансляции альтернативности в будущее», предполагает несколько уровней в зависимости от того, в качестве субъекта или объекта молодежь рассматривается проектно.

Первый уровень — это решение социально-экономических проблем молодежи, поскольку, по определению, как поколение стартующих она имеет меньше возможностей, чем поколение уже стартовавших. А поскольку, исходно, новое поколение в социально неоднородном обществе изначально является представителями неимущего большинства, встает задача создания неких условий его вписывания в существующую вертикальную систему и создания возможностей вертикальной мобильности. В противном случае общество обречено на накопление недовольства уже не только на чисто экономическом полюсе бедности, но и по возрастному признаку. А поскольку это поколение всегда более нетерпеливо и более энергично по сравнению со старшими поколениями, его неприятие существующих условий и существующей власти оборачивается столь энергичным протестом, что, как правило, власть испытывает крайние затруднения

в противостоянии его протесту. С известной долей условности можно сказать, что революции возникают не столько тогда, когда в обществе много бедных, сколько при условиях, когда полюс бедности и полюс молодости совпадают, и целое поколение оказывается включено в поле образов альтернативности.

Однако этот уровень, уровень обеспечения социальной защиты и поддержки молодежи, создания для нее реальных возможностей роста, является лишь самым первым и самым примитивным. Его обеспечение — это лишь некая защитная функция наличного настоящего (если оно это вообще понимает), отражающая ее отношение к молодежи как объекту, потенциально способному представлять для нее опасность, функция его некоего миротворения.

Второй уровень — это выход за рамки подобного миротворения, превращение молодежи в активного участника, действующего в созданной системе. Но, чтобы это сделать, необходимо включить молодежь в систему ценностей данного общества, сделать ее преемником тех образов будущего, которые существуют в данной системе — т. е. осуществить акт наследования данного будущего, на уровне формирования латентных образцов поведения сделать этот субъект принимающим и разделяющим правила игры, существующей в обществе. А тогда эти правила должны быть сами сформулированы в достаточно привлекательном виде, т. е. выступать как позитивная альтернатива настоящему, создаваемая активной деятельностью этого настоящего. Причем они должны быть таковы, чтобы не расходиться с правилами, по которым реально живет правящая элита. Поскольку в современном обществе с конца 1980-х гг. формировался образ «игры без правил», нынешняя система ценностно-целевого мотивирования стоит перед проблемой, которую она в полном объеме вряд ли осознала.

Она либо должна предложить новому поколению этот же образ, т. е. получить огромную социальную массу, сориентированную на несоблюдение никаких правил, если это ведет к успеху, т. е. сформировать жесткого хищника, стремящегося к тому, чтобы

отобрать у нее ее положение. Поскольку этот хищник будет более голоден и более энергичен, нежели она, то она вновь в иной реальности обречена создавать своего могильщика и палача.

Либо она должна предложить преемникам будущего некие образы правил будущего, воспроизводящие альтернативность негативам настоящего. Но, поскольку эти правила обречены расходиться с правилами, идентифицируемыми как определяющие негативность настоящего, субъект наследования обречен получить одно из двух. Или молодежь, видя контрастность предлагаемых норм с реально существующими, отказывается их принимать (или принимает лишь внешне) — и тогда она неизбежно вновь становится в негативную позицию по отношению к декларируемым в обществе нормам, или она их принимает, но, осознавая, что существующая реальность им не соответствует, с не меньшей энергией приходит к стремлению эту реальность уничтожить как не соблюдающую принимаемые молодежью нормы и утвердить иную идеальную альтернативность.

Историческая фраза об «экспроприации экспроприаторов» в новой форме обретает другую актуальность.

Третий уровень еще более сложен. Он связан с тем, что, формируя навыки и алгоритмы поведения молодежного субъекта, субъект воспроизведения реальности должен формировать качества, которые будут задействованы во многом не в настоящем, а в некоторой будущей перспективе. Но для этого он должен обладать представлением о тех условиях, которые будут наличествовать в этом будущем, которые он намерен создать уже в своей социально-политической деятельности, т. е. иметь более-менее внятный образ общества, которое он создает как альтернативность настоящему. Само по себе это естественно и связано с органической функцией целеполагания, которую элита в принципе должна выполнять, чтобы быть дееспособной элитой.

Но именно эту функцию отечественная элита выполнять давно разучилась. Собственно, катастрофа конца 1980-х гг. именно с этим и была связана.

Причем здесь речь идет как об общестратегических моментах, связанных с проектностью в широком смысле — видении принципиальных контуров общества, которое страна должна получить через 10–20 лет, так и с определенной «технологической» стороной этой проектности, связанной, например, с предполагаемой структурой занятости в среднесрочной перспективе.

Если говорить об этой стороне наследования будущего, мы сталкиваемся с двумя частными проблемами. С одной стороны, субъективированность стратегического полагания не способна сегодня сказать, какие, скажем, профессии нужны будут стране в этой перспективе. Профессиональное определение молодежи сегодня идет спонтанно, естественно-стихийно: при выборе того же высшего образования она ориентирована на профессии, которые считает успешными сегодня. В первую очередь во многом это менеджеры и юристы. Однако доминирование этих профессий характерно для очень узкого диапазона общественных состояний, в первую очередь связанных с ситуацией организации перераспределения некоего производственного избытка. Для Запада это во многом характерно, поскольку высокий уровень производства там, с одной стороны, уже достигнут, а с другой — поскольку основная масса материального производства сосредоточена за пределами этих стран. В современной России это характерно постольку, поскольку экономика последних 15 лет в основном связана с перераспределением так называемого «советского наследства».

В любом случае эти профессии могут быть лишь дополнением производства как такового (как материального, так и информационного). Успешное и самостоятельное будущее страны связано может быть лишь с постиндустриальным производством, а оно требует в качестве основных фигур ученого и технолога. Но именно технологические и инженерные профессии, все более широко затребованные сегодня, не привлекают особо внимание молодежи.

С другой стороны, недавнее увлечение идеей «интеграции с цивилизованным миром», в сфере высшего образования вы-

разившееся в бездумной и необоснованной концепции «Болонского процесса», которую по большому счету не понимали даже сами ее отечественные лоббисты, ведет к переориентации на производство специалистов, которые могут быть задействованы не в будущем исторически необходимом постиндустриальном производстве собственной страны, а в обслуживании сегодняшней экономики западных стран, что особенно парадоксально в условиях нарастающего отчуждения с западной коалицией и состоянием военного конфликта с ней.

Обо всех парадоксах этой идеи, в основном очевидной для специалистов, но упорно навязывавшейся в ущерб отечественному образованию, причем не преодоленной еще и сегодня, можно говорить долго и отдельно. В данном случае важно то, что она означает: ценностно-целеполагающая система видит в собственной молодежи не основу будущего развития страны, а исходный материал обслуживания иных экономических моделей.

Таким образом, в обобщенном виде можно сказать, что естественные составные необходимой молодежной политики наследования будущего — это: обеспечение им социально защитной функции по отношению к новым поколениям и функции успешной интеграции его в социальную систему; обеспечение формирования у него качеств определенно ценностно-ориентированного социального субъекта, способного жить в обществе и воспроизводить (или создавать) его аксиологию; создание субъекта не столько сегодняшнего, сколько будущего общества.

Если в первом отношении в последнее время у элиты проявились некоторые навыки, правда, явно недостаточные и в основном связанные с собственными защитными функциями, то ни в первом, ни в третьем она целенаправленно и эффективно действовать сегодня не способна.

С формированием нормативных образцов будущего на сегодня не справляется, поскольку сама их не имеет. Создавать субъекта будущего общества не может, поскольку своего проекта будущего не имеет.

Причем и в первом отношении, если сугобо защитные программы оно, так или иначе, хотя и недостаточно, намечает, то механизмов наследования будущего, интеграции новых поколений в свою систему на достойных основаниях пока не имеет.

В целом это означает, что медленно, шаг за шагом, существующая реальность формирует в стране ситуацию поколенческого разрыва. Лучший вариант, на который в таком случае можно рассчитывать, — это воспроизведение ситуации молодежных бунтов 1960-х гг. в Европе. Другой, более радикальный, — ситуации начала прошлого века в России. Поскольку история КПСС стала сегодня непопулярной дисциплиной, уже забылось, что ленинская РСДРП(б) была, по сути, молодежной организацией: средний возраст, скажем, делегатов ее 6-го съезда, в августе 1917 г. принявшего курс на вооруженное восстание, был ровно 25 лет. Если бы коммунисты Геннадия Зюганова имели такой средний возраст, они под корень снесли бы нынешнюю российскую систему еще четверть века назад.

Причем для проведения целостной молодежной политики как политики наследования будущего в стране недостаточно только понимания ее необходимости и даже представления о ее основных контурах. Для этого нужны не только субъективирующие начала наследования будущего, но и сама эта альтернативность будущего, причем включающая в себя наследование будущего, предлагавшегося на предыдущем этапе.

Большевики, как уже говорилось, смогли создать для этого комсомол, хотя и сами были молодежной организацией.

Сегодня подобную структуру создать проблемно, поскольку проблемно в условиях политического плюрализма создать всеохватывающую политическую молодежную организацию, так как претенденты на ее создание: а) не могут по определению охватить политический сегмент в самой молодежной среде; б) не являются носителями ориентированного на будущее созидательного проекта.

Западные страны отчасти научились решать проблемы молодежной политики в силу, в частности, двух обстоятельств:

изобилия материальных ресурсов, доступных для перераспределения; наличия в их культурах сложившихся, хотя и достаточно эклектичных, но явно доминирующих проектов мироустройства (хотя бы в рамках модели «общества потребления»). Однако и они в итоге оказались конструктами мультиплицируемого настоящего в последовательном снятии цивилизационных ограничений и превращении в модель варваризирующего регресса.

Неким шагом для создания инструментария осуществления молодежной политики, конечно, было бы создание Министерства по делам молодежи. То есть в известном смысле оно необходимо, поскольку это дает хоть что-то в отличие от нынешней ситуации, когда мы не имеем ничего. Но такая структура сама по себе, опять же, может решать в основном задачи первого из трех описанных уровней. Ее главное ограничение в том, что это в основном структура «объектного» воздействия на молодежь, не предполагающего ее субъектное участие в процессе, чем, опять же, силен был старый комсомол, предполагавший субъективированную альтернативность будущего.

То есть структура нужна, но вопрос в том, как в ней совместить ее государственные полномочия с чертами общественно-политической организации, готовой охватить всю широту идеологического спектра.

В принципе при известной доли гибкости эта задача организационно решаемая.

Однако более важно именно то, что сама субъектность социума России сегодня непроектна. Чтобы формировать черты молодежи и обеспечивать ее развитие, надо прежде всего самим знать, к какому месту в каком обществе она готовится.

1.3.2. Большая и малая семья в наследовании будущего

«Вопрос о бабушках», в первую очередь воспринимающийся как элемент демографической проблемы, на самом деле является куда более значимым комплексным социальным и социокультурным вопросом.

На первый план здесь действительно выходит момент, связанный с помощью родителям в воспитании и уходе за детьми. Следовательно, вопрос возможности преодоления тенденции к однодетности, т. е. тенденции неизбежного сокращения численности населения. Здесь все более или менее ясно, как в плане доводов «за», так и в плане известных ограничений: в современном обществе возникает проблема ограничения готовности старшего поколения посвятить свою жизнь тому, что уже было пройдено ими в молодости — воспитанию детей.

Однако в значительной степени последнее ограничение возникает не само по себе, а в силу утверждения определенной социокультурной модели, где общей атомизации личности сопутствует определенная атомизация поколений: каждое из них тяготеет к ощущению своей самодостаточности и подчинению своих жизненных целей сравнительно узкой группе собственных интересов.

В значительной степени это было рождено самой философией проводимых в течение последних 30 лет трансформаций, в рамках которой старшее поколение рассматривалось как «отработанный человеческий материал». Десоциализация этого поколения была изначально заложена подходами авторов трансформаций минимум по трем векторам.

Во-первых, изначально, в период массовой ломки общественного сознания и социокультурных приоритетов еще времен перестройки, по сути дела, как ценности этого поколения были объявлены незначимыми и ложными, т. е. принесены в жертву текущим экономическим и политическим интересам элиты, так и были нивелированы и обесценены заслуги и труд этого поколения, т. е. оно было по умолчанию объявлено незначимым, лишним для планов начинаемой трансформации.

Во-вторых, как определенный вывод из этого, и социально-экономические интересы данного поколения были объявлены незначимыми, экономическая катастрофа 1990-х гг. нанесла удар именно по ним: за счет обесценивания накоплений, за счет практической символизации существующих пенсий. Если пен-

сия до начала трансформаций, колебавшаяся от 70 до 140 руб. (35 000–70 000 руб. сегодняшнего дня), позволяла вести относительно достойный образ жизни с учетом символических трат на коммунальные услуги, транспорт, лекарства и т. д., пенсия 1990-х гг. превратилась сама в сугубо символическую подачку, обеспечивающую жизнь на уровне нищеты.

В-третьих, произошел практический отказ властной системы от своих социальных обязательств по отношению, в частности, к данной категории населения.

Был утверждён негласный алгоритм: «старший — значит лишний». Эта установка была развита и утверждена с переходом к накопительной пенсионной системе. Если в пропаганде ее на первый план выводился постулат о том, что благосостояние после выхода на пенсию должно быть результатом накопленного за жизнь трудового вклада, то в глубине своей оно несло абсолютно циничный подход: человек имеет право на обеспеченную старость не потому, что он человек, и не потому, что в своем статусе он нужен обществу, а только потому, что он сам накопил себе деньги на старость. То есть обеспечение последней из социального обязательства государства было превращено в сугубо личное дело отдельного человека: «каждый сам за себя».

Если отвлечься от сугубо экономических моментов, в последнем имеется принципиальный модельный постулат.

Возможны, среди прочего, две отличающиеся модели культуры. Отличающиеся именно по оценке роли престарелых. В одной такие признаются ненужными, в лучшем случае им позволяют жить за счет того, что они накопили, в худшем, как в ряде первобытных культур, просто убивают либо отдают на съедение хищникам, чтобы избавиться от затрат на их содержание.

В другой престарелые («дедушки» и «бабушки») рассматриваются как носитель опыта и транслятор социализации. Общество видит в них свое социокультурное богатство, принимает значение их авторитета и признает свою определенную подсудность их мнениям и знаниям.

Собственно, именно они обеспечивают наследование как культурно-художественных, так и нормативно-ценностных наследий, и в том числе наследование будущего, т. е. альтернативных идеальных конструктов, надежд и мечтаний прошлого.

Первая культура, в естественных условиях рождаемая скудостью, является культурой выживания, соответственно — преимущественно культурой дикости, в которой общество не только вынуждено думать исключительно о сегодняшнем дне, но и обречено себя воспроизводить, поскольку в нем не выработана установка на социокультурное накопление. Родители, ориентированные своим опытом на «сброс с баланса» собственных родителей, воспроизводят такое же отношение к себе и своих детей в будущем. В вечной проблеме «если бы молодость знала, если бы старость могла» из принимаемых ценностей изымается признание ценности того, что «старость знает», остается лишь то, что «молодость может». То есть ценностями признается исключительно физическая сила молодости и еда, которую она может добыть. А поскольку «еда» (в современном обществе — более широкий круг текущего материального потребления) в этом отношении воспринимается как самоцель и самодостаточность, то, в известном смысле, такое общество, «общество желудка», в значительной степени еще и не является человеческим, оставаясь животным.

Соответственно, даже когда еды и становится больше, и даже много, она остается центральным началом, которое из необходимого средства обеспечения жизни становится его божеством, а потому, даже когда это общество выходит из черты скудости, служение этому божеству доминирует над всем остальным, и даже когда общество отходит от традиции убиения престарелых, «еда», а не исполнение иных функций остается доминирующим и для них, т. е. даже будучи сытыми, его престарелые видят смысл своего существования в том, чтобы есть самим, но, скажем, не воспитывать внуков.

Вторая культура предполагает, что «сила» и «еда» — не самоцель, что есть что-то большее. И это большее — в широком

смысле «знание» — опыт, традиции, человеческие отношения. В этом обществе «дедушки» и «бабушки» — это объект почета и носитель человечности, хранитель социокультурных кодов и общественной самоидентификации, хранитель «наследования будущего».

Здесь, конечно, тоже есть своя проблема: когда последнее начало начинает доминировать, опыт и обычай могут начать доминировать над тенденциями обновления, над познанием. Но это общество все равно выше «общества желудка», поскольку включает в себя ценность чего-то большего, ценность знания, и хранит площадку его развития. «Общество желудка» меньше ограничено традицией, в принципе более открыто изменениям, но, даже освоив их, оно меньше способно их удержать, поскольку не имеет механизмов такого удержания, т. е. его развитие возможно лишь благодаря постоянному внешнему влиянию.

«Обществу памяти» сложнее овладевать новациями, но оно может их удерживать и развивать.

Теоретически снятие этого противоречия заключается в «обществе познания», когда преодоление традиции и ее постоянное развитие само становится традицией. Но это другой вопрос.

В «двупокольном» обществе, где «бабушки» списаны и признаны ненужными и в качестве значимых сохранены лишь «родители и дети», «списание», незначимость первых производит в потенции такое же отношение детей уже к своим родителям. Отсюда сам их авторитет изначально поставлен под латентное сомнение. Он держится лишь на том, что и так признано значимым: «силе» и «еде». Пока родители сильны, пока «еда» для детей зависит от них, — они обладают авторитетом. Но в рамках этого авторитета, подспудно воспринимаемого как рабство, они лишь их признание и могут передать детям.

Не являясь носителями ценности «памяти» и почитания своих родителей, они не могут сделать носителями этого и своих детей. Сформированные как вынашивающие постулат сбрасы-

вания авторитета своих родителей, которые «почитаемы» лишь в силу зависимости от них, т. е. воспитанные в скрытом ощущении конфликта «отцов и детей», они передают ориентацию на него и своим детям, конфликт обречен на постоянное воспроизведение в тех или иных формах, т. е. с социокультурной точки зрения постоянно обреченно воспроизводится общество «манкуртов», в котором дети, с одной стороны, не имеют возможности актуализировать для себя опыт «бабушек», которые не являются ключевым звеном их социализации и заведомо рассматриваются как «устарелые», но к тому же лишь в ограниченном объеме могут испытывать и социализацию опытом родителей, поскольку последним некогда его передавать.

Отсюда «вопрос о бабушках» — это вопрос не просто облегчения ухода за детьми для родителей, это вопрос возможности их долговременной и устойчивой социализации, которая основана не только на перенимании образцов успешного поведения, но восприятию уже осмысленного опыта, усвоения апробированных социокультурных кодов и принятии тех или иных ценностей, выходящих за рамки «ценностей желудка».

При двухпокольном обществе отношение к детям в значительной степени является вопросом вынужденной обязанности, при трех- и более покольном — вопросом ответственности, во многом добровольной.

Отсюда, не имея в обществе «института бабушек», мы в значительной степени доминирующим у его гражданина делаем начало «обязанности», во многом тяжелой и тяготеющей к собственному сбрасыванию, к бегству от нее; при наличии этого института мы раскрываем дорогу отверждению в гражданине чувства ответственности, в большей части добровольной, являющейся формой личностной самореализации.

Таким образом, при отсутствии «института бабушек» мы воспитываем подданного, скрыто недолюбливающего своего суверена, при его наличии — гражданина, ответственного участника социальной жизни. В первом случае мы получаем в обществе

политическую культуру «подданничества», во втором — «свободного участника».

Разумеется, одним названным фактором все проблемы, связанные с установлением той или иной политической культуры, не исчерпываются, но этот фактор — один из определяющих в ее становлении.

И здесь во многом от общества и его политической элиты зависит, что мы хотим иметь в стране: «общество желудка», пусть даже сытого, общество «манкуртов», которое усиленно создавалось с конца 1980-х, или общество разносторонней социализации, опирающееся на опыт прошлого и способное к его органичному возвышению и обновлению.

1.3.3. Политическая инженерия субъектности альтернативного конструирования

Политология в нашей стране в каком-то смысле разделила судьбу предшествовавшей ей научной дисциплины, преподававшейся в вузах, — теории научного коммунизма, что, по сути, было попыткой создания теории альтернативного идеального политического конструирования

Последнюю ввели для изучения в 1964 г. — после того, как на XXII съезде КПСС была принята «Программа строительства коммунизма».

Политология была введена в начале 1990-х после того, как в стране стали утверждаться альтернативные выборы и многопартийность.

Соответственно, первые дипломированные специалисты по научному коммунизму в стране появились не ранее 1969 г., когда собственно о курсе строительства коммунизма как идеальном альтернативном конструировании стали забывать, а первые дипломированные специалисты по политологии — во второй половине 1990-х, когда реальное свободное волеизъявление на выборах стало поэтапно сворачиваться.

Таким образом, как ни парадоксально, получается, что социализм строили (и приступали к строительству коммунизма) как идеальную альтернативу ранее существовавшему миру, не имея сформированного корпуса специалистов этого строительства, а «демократические» институты и альтернативную электоральную практику утверждали, не располагая корпусом специалистов уже и по данному вопросу.

В обоих случаях, с одной стороны, некоторое социальное проектирование осуществлялось людьми, в данном проектировании не разбиравшимися, с другой стороны — к моменту, когда корпус соответствующих специалистов так или иначе формировался, от данного проекта практически отказывались и принимали новую систему конструкторов.

Научный коммунизм сам по себе отчасти был, а отчасти мог стать интереснейшей наукой о будущем, но главным его врагом являлся тот учебник, по которому будущим специалистам предлагали с ним знакомиться: сложно было даже при известном старании придумать что-то более скучное, малосодержательное и усыпляющее. Поэтому преподавать научный коммунизм интересно удавалось тем преподавателям, которые шли не от учебника, а от самостоятельного осмысления данных теоретических проблем идеального альтернативного конструирования.

Когда вузы приступили к преподаванию политологии, во многом в нее перенесли худшие черты учебников научного коммунизма, на волне политической моды занимаясь опровержением тех тезисов, которые те же люди утверждали в течение предыдущих десятилетий, полностью воспроизводя тягучий и малосодержательный стиль изложения проблем.

То есть из научного коммунизма убрали живое содержание, из политологии живого содержания не взяли, превращая отечественные учебники по политологии в наукообразное изложение постулатов антикоммунизма, не доводя предмет до уровня политической теории, но избавляя его от социального содержания.

Конечно, неверно было бы говорить о том, что политология в России не состоялась, в отличие от западных стран, где она успешно развивалась в течение всего XX столетия.

При всем успешном развитии в западных странах там она также достаточно далека от единой науки, состоящей из общепринятых положений.

То, что понимается как политология в США, во Франции подчас относится к политической социологии, споры о том, является политология единой «политической наукой» или конгломератом нескольких «политических наук» при формальном завершении в конце 1940-х гг., на деле продолжаются и сегодня. Не закрыт до конца вопрос об уместности сохранения ценностей и политической теории, не до конца разведена политическая философия как наука о том, что «должно быть», и собственно политология как наука о том, что на деле есть.

Все это так или иначе сказывается и на отечественной политологии, которая в вузовском изложении во многом остается не теорией идеального политического конструирования, а расширенным курсом школьного обществоведения.

Кроме того, на отечественной политологии сказались и некоторые еще ранее утвердившиеся особенности российской как общей, так и политической философии. Если западные концепции всегда тяготели к оформлению в логически законченные модели, в России утвердилась определенная тяга к «политико-зерцательному» началу, к попыткам встроить в политический анализ некие трансцендентные моменты, обосновывающие, почему в России все по определению должно быть так, как нигде не бывает. Если Запад дал миру букет ярких политических учений — от Макиавелли и Гоббса, через Дидро и Руссо, Токвиля и Константа, Бьорка и Милля до Маркса, Моска, Вебера, Грамши, Маркузе и т. д., то, по большому счету, Россию, как представляется, можно считать родиной лишь одного законченного и полноценного учения — ленинизма, в основе выросшего из западной политической мысли. Разумеется, если не считать тру-

дов тех, кого относят к русской консервативной и религиозной философии, но которые скорее являются трудами не столько политических философов, сколько трудами трансцендентно ориентированных политико-созерцающих мыслителей, очень часто предельно далеких от политической инженерии — с одной стороны, и альтернативного опережающего политического конструирования — с другой.

Правда, последнюю роль в значительной степени в отечественной политической философии исполнила классическая советская художественная футурология, намного опередившая в хронологии и в качестве своего анализа и конструирования западную академическую футурологию.

Другое дело, что масштаб и распространенность этого учения оказались таковы, что уж никто в мире не может пройти мимо него, так или иначе не определяясь по отношению к нему. Возможно, тут тоже проявилась некая специфика страны — обобщить достижения мировой мысли и предложить одно, но такое, чтобы весь мир оказался потрясен до самых своих оснований: в конце концов, нам никуда не деться от того, что Ленин оказался не только одним из самых универсалистских и тонких мыслителей мира, но и самым выдающимся политтехнологом минимум XX столетия. Возможно, и всей истории.

Однако общая устремленность на некий жанр, который вполне можно определить грибоедовскими словами «взгляд и нечто» или лексикой Васисуалия Лоханкина, привела к тому, что в 1990-е гг. политологическая традиция России разбилась на несколько противостоящих течений.

Там, где отечественная политология не пошла по пути достаточно упрощенного пересказа положений мировой политологии, в основном выбирая из них тему «разоблачения тоталитаризма», там она в значительной степени превратилась в подмену политологии достаточно произвольным политическим фантазированием с отсылками не то к старцу Филофею, не то

к «евразийству», и попытками самопроизвольно придумать несуществующие сущности, напоминающие миры Толкиена.

Одним из дефектов ее оказалось то, что люди, объявляющие себя политологами, скорее претендуют на то, чтобы быть идеологами, причем идеологами несуществующих идеологий.

Отсюда они претендуют, скорее, не на роль политических инженеров, а на что-то среднее между «политически-созерцающими мыслителями» и медиумами придуманных ими истин.

С другой стороны, и политическая элита, сформированная в период, когда политологии в вузах не учили, относится к политологам не столько как к политическим инженерам, чья позиция в обеспечении политических целей должна восприниматься как императивная, сколько как к спичрайтерам и обслуживающему персоналу политики.

В 1996 г. КПРФ не сумела достичь нужного результата на выборах не потому, что не имела для этого реальных возможностей, и даже не потому, что у нее не было профессиональных политтехнологов, сколько потому, что в духе традиции технологические разработки утверждались к исполнению партийными чиновниками.

В этом отношении в стране сложилось положение, подтверждающее известный афоризм: «В двух сферах каждый считает себя квалифицированным специалистом — в медицине и в политике».

На самом деле политология не может и не должна претендовать на то, чтобы быть конструктором идеологии — идеологию вообще нельзя сконструировать, но она и не должна быть пропагандистским придатком реальной политики.

По большому счету, все назначение ее сводится к выполнению двух функций: предлагать необходимые меры для достижения поставленных политиками целей и предупреждать о последствиях, к которым приведет достижение этих целей.

Политолог тем и отличается от политика и идеолога, что сам он целей не ставит. Цели — это не нечто объективное, это

некое желательное начало. И в этом отношении политолог должен быть подчинен политике.

В этом смысле у него нет и не должно быть своих целей и стремлений, кроме успешного решения профессиональных задач. Политолог в идеале не должен быть носителем идеологии. Ему должно быть все равно, на какую политическую партию и на какую политическую цель работать: он инженер. Его просят построить мост, по которому, скажем, пройдет бронепоезд (или колонна танков), и вопрос о том, под красным знаменем или под белым будет этот танк или этот бронепоезд, для него не существует. Точно так же для него не существует вопрос о гуманности или негуманности использования бронепоезда, скажем, против безоружных людей.

То есть ему в идеале должно быть безразлично, конструировать авторитаризм, парламентскую демократию или советскую республику. Но одновременно в его профессиональные функции входит и прогноз последствий. Если он предлагает эффективные меры подавления демократии и создания авторитарной системы, он одновременно и предупреждает, к чему это приведет на втором или третьем шаге действия — скажем, к разрушению легитимности, отстранению общества от власти, а следом, предположим, к массовому выступлению против этой власти и к гражданской войне.

Он не говорит, гражданская война — это плохо или хорошо. Он только предупреждает, что она будет, а затем к каким — положительным или отрицательным последствиям для социума это приведет.

В данном случае мы абстрагируемся от того, может ли он как гражданин быть безразличен к судьбе страны. Но это никак не связано с его качествами политического инженера.

Отсюда мы видим, что есть несколько моментов, мешающих состояться политологии как сугубо позитивной науке, как политической инженерии.

На одном уровне они связаны с качествами самого политологического человеческого материала.

Первое — политолог в России слишком часто пытается выступить идеологом и принять участие в формулировании целей политики.

Второе — политолог в России слишком часто гиперболизирует свое профессиональное значение и в глубине себя уверен в своих сверхъестественных качествах, полагая, что если его мысль не считает сложившиеся в политологии заключения незначимыми, то они не являются значимыми и на деле.

Третье, вытекающее отсюда — политолог в России слишком часто полагает, что его способность к технологической конструкции делает имеющиеся положения и выводы политологии как науки несущественными. Он, по сути, является не политологом, а несостоявшимся политиком, полагающим, что будь у него власть, для него все станет доступным. Отсюда — пресловутый «гуманный демократический социализм» времен перестройки. Отсюда — «суверенная демократия», отсюда — «левый национализм» и прочие продукты мыслительной евгеники.

Социализм может быть гуманным, демократией может обладать суверенное государство, национализм, как любое политическое течение, может иметь и левое, и правое крыло. Но дело-то в том, что, прикрываясь неким прилагательным, подобный самобытный политолог с его помощью отбрасывает и подменяет сущность явления, с которым он имеет дело, превращая его в некую собственную противоположность. «Гуманизируя социализм», конструирует нелепые рыночные реформы; «суверенизируя демократию», формирует бюрократический авторитаризм; декларируя «левый национализм», реабилитирует нацизм.

И отсюда стремление в политологии научный анализ подменить следованием интуитивным озарениям, а подчас горделивое провозглашение ненужности руководствоваться общепризнанными политологическими положениями, точнее — утверждение, что таковых нет.

Подобного рода «суверенная отечественная политология» — лишь раннее проявление уничтожающей западноевропейскую цивилизацию постмодернистской «культуры отмены»

По большому счету, к сожалению, сегодня с известными оговорками можно признать, что более или менее успешно в отечественной политологии развиты две сферы, два направления.

Первое — теоретическое, — это история политических учений, поскольку здесь дело имеется с реальными позитивными фактами — с тем, что уже написано и более или менее апробировано. Но распространению этого позитивного знания мешает неготовность значительного числа «протополитологов» признать истиной то, что было сформулировано без их участия, т. е. неготовность признать устоявшиеся нормы политической науки.

Второе — практическое, — это навыки организации пиар-кампаний. Здесь тоже политолог имеет дело не с произвольными спекуляциями, а с позитивными вещами, с приемами, допускающими проверку своей прикладной эффективности. Но бедой этого направления является его опускание в рекламность, смешение пиара и рекламы, с ориентацией на сиюминутный результат без учета того, что политолог обязан учитывать — институциональных и социальных последствий текущего манипулирования массовым сознанием. Здесь политолог превращается в чистого ландскнехта, лишённого перспективного инженерного видения.

На другом уровне эти развития политологии связаны уже с качествами собственно элитно-политического материала. Они проявляются уже в иных, по-своему симметричных моментах:

- первое — российская элита куда более безграмотна и самоуверенна, чем самые претенциозные политологи, и потому полагает, что если ей удалось приватизировать сегмент власти, то она хотя и не училась политологии, но понимает в политике больше самих политологов;
- второе — являясь дефектной элитой, но располагая функциональным правом ставить цели в политике, она не

связывает свое будущее с будущим страны, а потому не способна сама генерировать стратегические цели общественного развития;

- третье — если она и готова подчас принять на вооружение меры, предлагаемые политологами для достижения ее целей, то уж практически никогда не способна воспринять предупреждения, формулируемые последними, просто не задумываясь, что за непосредственными результатами ее тактического успеха мерцают сокрушительные стратегические поражения.

Отсюда вопрос о роли политологии в стране как политической инженерии субъектности альтернативного конструирования — это не вопрос профессиональной судьбы политологов, хотя, среди прочего, даже не имея политических пристрастий, полезно задумываться, что, скажем, упрочивая авторитаризм и сокращая пространство партийного плюрализма, политолог сокращает пространство своей собственной востребованности, в конечном счете свои собственные электоральные гонорары.

И даже не вопрос существования данной политической элиты, хотя задумайся старая партийная элита, чем обернется для нее игра в плюрализм в конце 1980-х, страна была бы и значительно больше, и значительно богаче.

Это на самом деле как раз вопрос существования страны и социума, вопрос способности общества ставить перед собой стратегические цели и достигать их без разрушающих их же последствий — вопрос субъектности альтернативного конструирования.

В этом отношении единственное, что можно сейчас сделать для придания политологии в стране имманентного ей конструктивного значения, — это, с одной стороны, все же некое внутрикорпоративное признание того, что политология может и должна быть сугубо инженерной, позитивистской наукой, в которой нельзя плодами политической фантазии подменять существующие научные политологические правила. С другой,

некое завершение корпоративизации (частично имеющей место) цеха политологов, в рамках которого они смогли бы, продолжая, как оно и должно быть, работать на самые разные политические силы, субъективироваться и договориться о неких игровых правилах собственного игрового противостояния, в рамках внутрицеховых решений пресекая те действия элиты, которые могут вести к снижению роли политологии в обществе.

То есть попытаться стать из разрозненного цеха политических фантазеров и политических ландскнехтов цехом политических фагоцитов, удерживающих политическую и идеологическую борьбу в рамках минимальной системной безопасности.

Это то, что они при отсутствии дееспособной элиты могут сделать сами. И это то, чему они сами мешают и будут мешать, пытаясь стать игнорирующими реальные политические законы фантазирующими идеологами.

Глава 2

Рубеж запроса на опережающую альтернативность

Запрос на опережающую альтернативность рождается в условиях, которые в общем плане можно описать как исчерпание проекта, налицо реализуемого в обществе, когда внешне существующая реальность выглядит как ему соответствующая и успешная, но на иногда интуитивно ощущаемом уровне ему противоречащая в каких-то не вполне уловимых чертах. При прочих равных это происходит на рубеже эпох, когда, с одной стороны, не хватает существующего исследовательского инструментария, чтобы полноценно проанализировать сложившуюся ситуацию, с другой — она явно начинает выходить за рамки привычных представлений о ней, с третьей — сам существующий социум начинает требовать оценки и описания с точки зрения требований этико-эстетического идеала. Описанное предполагает возникновение цивилизационного запроса на проектную альтернативность, способную к самореализации, т.е. требующую субъекта альтернативности, способного оценить и определить возникшую противоречивость ранее реализовывавшегося проекта, обладающего деятельностным темпераментом, способного к наследованию темперамента, создававшего данную реальность, но выходящего за рамки темперамента, утвердившегося в социуме на последнем этапе, способного к коренному изменению сложившейся реальности при сохранении общей наследуемой проектности.

2.1. Нереализованная альтернативность будущего

Тогда, в 1985 г., СССР вовсе не был в кризисе. Но был страной созревших противоречий, требовавших разрешения и нового прорыва на этой основе. На тот момент налицо данное

прошлое было исчерпано, но создавало основу и внутренние ожидания своего вытекавшего из него будущего, бывшего альтернативным по отношению к тогдашнему состоянию, но и выходящему явно альтернативным к позже наступившему.

В итоге семидесятилетнего периода развития существовавшее в СССР общество подошло к состоянию, насыщенному многими внутренними противоречиями. Была создана достаточно мощная материально-техническая база, в основном индустриального типа. Основу экономики составляли крупные индустриальные предприятия, на которых была занята большая часть населения страны. Это производство находилось формально в общественном владении. Начиная с 1970-х гг. подавляющее большинство людей обладало всеобщим средним образованием, около четверти — высшим. Возрос интеллектуальный, культурный, личностный потенциал общества. По сравнению с началом 1960-х гг. семикратно увеличились производственные фонды. Национальный доход вырос почти в 4 раза, промышленное производство — в 5 раз, сельскохозяйственное — в 1,7 раза. Реальные доходы на душу населения возросли в 2,6 раза, общественные фонды — в пять с лишним раз, было построено 54 млн квартир. Вместе с тем существенно замедлились темпы роста производительности труда, в первой половине 1980-х гг. темпы прироста национального дохода заметно снизились, хотя оставались более высокими, чем были в альтернативной западной социально-экономической системе. Опять таки, нужно подчеркнуть — он не прекратился, даже не сократился прирост, страна из года в год продолжала становиться богаче и сильнее. Предельно сократились лишь темпы прироста национального дохода.

Если перед стартом системы, в 1913 г., промышленный потенциал страны составлял 13 % от промышленного потенциала США, то к 1985 г. превысил 80 % промышленного производства США.

Именно здесь может быть наиболее ярко проявилось противоречие ситуации: за советский период страна в среднем раз-

вивалась в восемь раз быстрее, чем США. Но, с одной стороны, изначальный разрыв был огромен. С другой, рост темпов замедлился. И теми же темпами при их простом сохранении для того, чтобы все же догнать по промышленному развитию главного стратегического конкурента, его пришлось бы догонять не одно десятилетие. Реально стояла задача выстроить и восстановить устойчивую опережающую динамику развития.

И для этого разрешить накопленные проблемы и противоречия. А их было много. В сфере современного наукоемкого производства работало всего 3 млн человек. Лишь 13% рабочих были заняты трудом с высокой долей интеллектуального содержания, около 40% были заняты немеханизированным физическим трудом. Среди научной интеллигенции лишь около трети были формально допущены к труду, соответствующему их подготовке. В сельском хозяйстве лишь около 15% трудовой деятельности было механизировано. Выпускаемая продукция в основном заметно уступала по качественным характеристикам мировым аналогам. Производство работало с использованием малоэффективных технологий, ставящих под угрозу среду обитания человека. Остро встали проблемы защиты бассейна реки Волга, озера Байкал. Во многих промышленных районах окружающая среда перестала быть пригодной для нормального существования.

Производственный потенциал страны оказался фактором, ограничивающим использование личностного потенциала общества. Большинство людей были заняты трудом, не соответствовавшим их способностям и уровню подготовки. Относительно равная рабочая сила, соединяясь с разнородными средствами труда, порождала неравный разнородный труд. Однако в условиях тенденции к обеспечению распределения по труду собственности, принадлежащая всем, собственно реализовывалась индивидуально, что означало ее внутреннее противоречие: абстрактно общественной, а конкретно — частной, оплата оказывалась не оплатой по труду, а оплатой по тем средствам труда, которые были доступны конкретному человеку.

Труд как процесс деятельности противоречил труду — отношению собственности. Производительные силы отставали от производственных отношений, производственный потенциал отставал от интеллектуального потенциала.

Предпринимавшиеся с начала 1970-х гг. попытки сократить разрыв в оплате разных видов труда привели к ряду негативных последствий. Масса платежных знаков не обеспечивалась массой произведенных продуктов. Это означало, с одной стороны, снижение оплаты более сложных видов труда, с другой — что получение продуктов стало зависеть не от наличия денег, а от внешнеэкономических факторов. Стали возникать группы, обеспечивающие себя за счет обладания властью, близостью к системе распределения, концентрации продуктов в своих руках и их перепродажи. Возник и ширился черный рынок, теневая экономика, росло материальное неравенство, деньги превращались в средство влияния. Распределение продукта вне зависимости от труда означало снижение производительности труда, качества продукции, росту потребительства и дефицита, повышению цен, росту нетрудовых доходов. Росло разочарование в официальных ценностях, политическая апатия, влияние аппарата управления, разочарование в политической системе. В подобных условиях возникал замкнутый круг: чем выше оплата, тем ниже производительность труда, больше несоответствие спроса и предложения, выше реальные цены, ниже уровень жизни.

Это означало нарастание негативных процессов в политической жизни. Происходило экономическое и политическое обособление слоя, наиболее близкого к фактическому управлению властью — оргократии (бюрократии, в веберовском смысле слова).

Возрастание его роли шло по следующим направлениям: 1) балансирование над различными слоями массы трудящихся; 2) само воспроизводство послушного состава; 3) наличие доступа к дефициту; 4) превращение принятия решений в товар; 5) положение этого слоя «наедине с властью»; 6) подчинение

своему влиянию элиты и фактическое превращение бюрократии в элиту; 7) инфомонополия, о которой говорил Вебер.

В рамках этих процессов можно выделять как неимманентный слой противоречий, порожденный неадекватными средствами разрешения возникших в обществе противоречий, так и имманентный, вызванный непосредственно этими противоречиями. К первому относится подмена разрешения противоречий между сложным и простым трудом сглаживанием его наиболее болезненных проявлений, что вело к деформации всего общества, групповому эгоистическому использованию формально общенародной собственности. Противоречивая потребность в научных основах развития общества и административно-волюнтаристском характере управления, снижение авторитета, следовательно — легитимности элиты, низкая доля политического участия, отсутствие контроля масс за формированием элиты, их неучастие в формировании приоритетов и целей.

Однако был и более глубокий пласт, связанный с тем, что традиционные институты и инструменты данного типа общества — общественная собственность, производство индустриального типа, ставка на личную активность, планово-административное управление в условиях возросшего и неиспользуемого личностного потенциала пришли в противоречие друг с другом, т. е. возникшие противоречия не могли быть решены в рамках подходов, традиционно обеспечивавших успех развитию социализма в прошлом. Это означало, что существовавшая в СССР его ранняя стадия исчерпала себя. Был необходим переход к новой стадии развития.

Но все дело было в том, что нужен был именно переход к новой стадии данного общественного устройства, а не отказ от него.

Проблема была в первую очередь в том, что существовавшие в тот момент общественные производственные отношения шли впереди затормозивших свое развитие производительных

сил. Между ними возникло противоречие. Но решать его можно было двумя путями: прогрессивным и регрессивным.

Прогрессивный заключался в том, чтобы производительные силы поднять до уровня производственных отношений. Регрессивный — в том, чтобы производственные отношения опустить до уровня развития производительных сил.

Первый заключался в организации производственного и научно-технического прорыва на основании целевого подхода. Второй — во внедрении схем саморегулирования времен Адама Смита и организации экономики XVIII в.

История глобального возвышения роли России в XX в. была связана с индустриальной мощью, созданной в СССР. Развитие происходило по следующей схеме: принималась созданная технология, сосредоточивались ресурсы сначала на обеспечении ее внедрения, а затем на наращивании мощи в рамках принятой, масштабном увеличении объема производства. При этом в нем доминировали относительно простые операции, успешно поддававшиеся контролю и административному регулированию. Жестко централизованная плановая система, дополненная высоким напряжением психологического тонуса рабочей силы, почти идеально обеспечивала высокую эффективность подобной системы. Это позволяло извлекать максимум из производства индустриального типа, что не могло быть обеспечено системой старого капиталистического типа, основанной на частной собственности, конкуренции и рыночном регулировании.

Поэтому мы вправе сказать, что социализм индустриального типа, утвердившийся в СССР, нанес сокрушительное историческое поражение классическому индустриальному капитализму. Капиталистическое общество уже не могло существовать, используя прежний уровень развития производства — это показал кризис 1920-х гг. Однако поставленный перед выбором — уступить в противостоянии систем или измениться — данный строй уже в 1930-е гг. приступил к глобальной собственной модернизации.

Большинство стран, имевших в начале века рыночную экономику, начиная с 1930-х гг. по сути начали переход к плановой экономике без отказа от частной собственности, в первую очередь США, Германия, Италия, Япония. В послевоенный период была сделана ставка на широкомасштабное внедрение достижений НТР, развитие и внедрение новых технологий. СССР сумел на несколько десятилетий продлить историческое существование индустриального производства и потому, опираясь на последнее, до последней четверти XX века не сталкивался во всей остроте с проблемой коренной реконструкции экономики, за исключением тех сфер, которые были связаны с оборонным производством.

Однако завершение первого этапа постиндустриализации стран-оппонентов означало создание более передового производства: индустриальный социализм начал проигрывать соревнование с уже плановым постиндустриальным капитализмом.

Старое производство уже не могло давать больше, чем оно давало. Но, с одной стороны, потребности формировались в значительной степени под влиянием западной массовой продукции, а с другой — использование высокого психологического тонуса участника производства порождало его ожидание высокой степени личной самореализации и повышения своего социального статуса. Индустриальное производство, с одной стороны, не могло существовать и функционировать без расширения производства высокоинтеллектуальной квалифицированной рабочей силы, но, с другой, не могло ее полностью реализовать.

В совокупности это означало, что его возможности исторически оказались исчерпанными и в нашей стране — оно не удовлетворяло и не могло удовлетворить ни материальные, ни духовные потребности личности и общества.

По сути, страна встала перед двумя глобальными проблемами: перехода к новым технологиям для обеспечения новых потребностей и для порядкового изменения качества продук-

ции — с одной стороны, и создания условий для творческой самореализации личности — с другой.

В принципе обе проблемы могли решаться в рамках одного вектора развития — коренной реконструкции производства на постиндустриальных, информационных началах, что предполагает принципиально иную его структуру:

- основной производительной силой такого производства является не столько индустриальное оборудование, сколько творческая, эвристическая способность человека, который должен быть освобожден от роли придатка технической и организационной машины;
- это производство требует выведения человека из его непосредственного процесса и постановки над ним в качестве организатора и контролера.

Подобное производство должно управляться не в рамках иерархических и даже не дивизиональных, но сетевых структур, чему более соответствует: замена министерств производственными корпорациями, научно-техническими объединениями, объединяющими технологически связанные предприятия; замена многочисленного управленческого слоя единой информационно-компьютерной системой страны; замена экономической власти ведомств властью ассоциаций коллективов и советов специалистов в отраслях; создание новых центров управления в лице мультиверситетов — центров производства научно-технической и производственной информации.

Это производство требовало бы признания основными ценностями общества стремящейся к возвышению человеческой личности, возможности ее творческой самореализации, гарантий обеспеченного существования семьи и быта.

Следует отметить, что эти параметры в значительной степени соответствовали традиции России, включающей в себя особую роль духовно-мобилизующего начала, сравнительно низкую роль сугубо материальных стимулов, ориентации на включенность духовного мира личности в систему идеи обще-

го идеала, высокую степень вовлеченности личности в систему коллективных целей и приоритетов при сохранении личностной индивидуальности. Кроме этого, к середине 1980-х гг. СССР имел следующие предпосылки создания такого производства: наличие ряда элитарных отраслей, работающих на уровне мировой науки; наличие значительно неиспользованного задела науко- емких технологий, созданных на базе военного и космического производств; единый общенациональный хозяйственный комплекс, позволяющий сосредоточивать значительные ресурсы на направлениях развития. Фактором, работающим на этот же вектор, было почти сакральное отношение к окружающей среде, воспитанное народной традицией, притом что само индустриальное производство явно очертило невозможность развития на базе технологий, ориентированных на потребление невозобновляемых природных ресурсов.

Общество отказалось от советского строя не потому, что считало его плохим, а потому, что хотело большего: более советского, более «мечтаемого». Антисоветский переворот в основе своей был освящен «советской мечтой». Большая часть несет в себе память о «советском» как о «достигнутом», а в самой глубине общественного сознания, на его подземных этажах, «советское» воспринимается как «мечтаемое». А те, кто не несет в себе эту личную память, воспроизводят ее в качестве «преданий» и «легенд».

Здесь вполне резонно возникает вопрос о том, не происходит ли в данном случае некая абсолютизация «мечты», и за скобками оказываются те, кто вовсе не мечтал и не мечтает о «советском», а напротив, его ненавидит, равно как возможен упрек в определенном перекасе в сторону положительного в «советском» и умаление отрицательного в нем же.

В принципе можно подойти и с точки зрения уравнивания обоих подходов. Просто здесь речь идет не о рассмотрении взгляда одной стороны и взгляда другой — это само собой разумеется, а о попытке понять и объяснить, почему «советское»

остается, и не просто как воспоминание молодости, а как некий объективный фактор, и почему остается у большинства, почему тот самый зазор между «мечтаемым» и «достигнутым», как правило, трактуется с позиции не отказа от первого, а запроса на его достижение.

Хотя такой взгляд и не отрицает того, что подчас действительно разные люди, говоря об одном и том же времени, об одних и тех же ситуациях, видят в них совершенно разное. Но это уже тема для отдельного разговора.

Общество в массе своей хотело получить не что-то «несоветское», а что-то «еще лучшее, чем советское». Не вернуться в «досоветское», что вообще нереализуемо, а попасть куда-то в «сверхсоветское», «надсоветское». Так, чтобы не отказываться от «советского», но вывести его на принципиально новый уровень, подобный идеальным альтернативным конструктам Мира Полдня А. и Б. Стругацких и «Туманности Андромеды» И. Ефремова.

Это будущее не состоялось и осталось «альтернативным будущим прошлого».

2.2. Специфика позднесоветского социально-политического темперамента versus требования наследования будущего

Существовавшая в позднесоветский период социальная реальность в рамках позднесоветской идеологической доктрины представлялась как в основном завершенная. И, соответственно, не требовавшая масштабного идеального альтернативного конструирования опережающего характера.

Отсюда отношение к ней социального субъекта конструирования, рассматриваемого как «единый советский народ во главе с Коммунистической партией», выглядело как равновесное, не требующее масштабного социально-преобразующего действия.

Хотя формально признавалось наличие в качестве конечной стратегической цели создания коммунистического общества, достижение ее рассматривалось как результат поступательного эволюционного развития, не требующего радикального преобразования действительности.

Соответственно, вся социальная деятельность этого субъекта рассматривалась и осуществлялась в лучшем случае как деятельность по улучшению отдельных сторон в целом совершенного явления. Причем подобный характер деятельности рассматривался даже не как некая временная необходимость, когда предполагается, что после решения неких задач данного этапа субъект обратится вновь к масштабному социальному преобразованию, а как постоянная для обозримого исторического будущего.

Навыки именно такой деятельности вырабатывались как объективно самой осуществлявшейся социальной практикой, так и субъективно. Практически подспудно провозглашалась задача формирования именно частично преобразующих навыков, отражением чего явилась известная установка: «Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня».

Взятая сама по себе, она выглядела вполне рационально, однако на скрытом плане она предполагала простое улучшение деятельности, не предполагавшее ни постановки принципиально новых задач, ни четкой ориентировки, в чем должно заключаться это улучшение. Идея «совершенствования» полностью поглощала идею «преобразования».

Это явственно проявилось в первые годы перестройки, когда официальное руководство провозгласило требование «работать по-новому», но не могло четко объяснить, какое содержание оно вкладывает в это требование.

Сама идея о том, что общество в целом несовершенно, нуждается в радикальном преобразовании, воспринималась не как призыв к дальнейшему историческому движению, не как отрицание достигнутого состояния с точки зрения движения вперед,

а как его отрицание из прошлого, с точки зрения предыдущего социального состояния, отрицание самих постулатов, лежавших в основе достигнутого состояния.

Даже так называемое «диссидентство» в этом отношении делилось на три течения, в зависимости от того, из какой точки исторического прошлого оно осуществляло свою критику: «белое», отрицавшее «отказ от вековых устоев России»; «западническое», отрицавшее социалистический вектор; и «красное», утверждавшее наличие в строительстве социализма некой коренной ошибки, искажившей образ социализма. Все они объединялись в поддержке установки на возврат в некую историческую точку, не предлагая нового прорывного проекта в движении вперед.

Социальная практика основного социального субъекта предполагала: 1) отсутствие масштабного социального образа, качественно отличного от достигнутого результата действия; 2) отсутствие альтернативного проекта развития; 3) отсутствие масштабного действия по преобразованию действительности; 4) отсутствие установки на активное вмешательство в сложившуюся систему отношений; 5) отсутствие сознательного вмешательства отношения власти и подчинения данной системы, т.е. практически отсутствие политического действия как такового.

В результате неизбежно шли процессы формирования соответствующих навыков социального действия.

1. Вместо развития способности самостоятельного создания образов измененного общества развивалась способность восприятия действительности как единственно разумной.

2. Вместо развития навыков альтернативного проектирования развивались навыки инструктивного действия.

3. Вместо развития навыков масштабного социально-преобразующего действия развивались навыки минимизации воздействия на действительность.

4. Вместо развития навыков и установок активного вмешательства в сложившиеся отношения развивалось выжидательное отношение к реальности.

5. Вместо развития навыков активного вмешательства в отношения власти и подчинения развивалась привычка заявлять власти свои ожидания, не рассматривая себя как субъект политического участия.

В целом, используя терминологию, привычную самой коммунистической доктрине, можно сказать, что вместо революционного темперамента, характерного для классического коммунизма и большевиков и предполагавшего действие по изменению самой сути существующей системы, ее коренных основ, развивался оппортунистический темперамент, предполагавший действие в рамках «возможного», в рамках существующей системы⁷⁰.

Следует отметить, что здесь речь идет о чертах, характерных для данного субъекта в целом. Однако он был не един, в любом случае в нем можно выделить чисто функциональное разделение на элиту, т. е. принимающую стратегические решения меньшинство, актив, т. е. тех, кто выполнял функцию организации действия по решению поставленных задач, и массы, участвующие в этом действии.

Все эти составные субъекта, которые мы можем условно определить как частные функциональные субъекты, в разной степени были затронуты описанной деформацией.

Элита находилась в условиях, характеризующихся следующими чертами:

1. Поскольку действительность рассматривалась как в основном завершенная, предполагалось, что все проектные цели определены базовым коммунистическим проектом, являются известными и нуждаются лишь в частичной детализации, а любая

⁷⁰ Мы оставляем в стороне вопрос, насколько продуктивен был данный темперамент в рамках существовавшей позднесоветской системы. Хотя анализ этого сам по себе представляет самостоятельный интерес. В данном случае нас интересуют только последствия формирования этого темперамента для нынешних социально-политических условий.

попытка предложения новых проектных целей есть отрицание базового проекта.

Отсюда роль идеологии сводится не к постановке целей, а лишь к оправданию действия элиты.

2. С одной стороны, предполагалось, что в условиях достигнутой стабильности элита не имеет внешней конкуренции, поскольку не существует политических сил, угрожающих положению партии, с другой — существовала жесткая внутриэлитная конкуренция, самым убедительным оправданием поражения в которой являлось реальное или мнимое расхождение с базовыми проектными ценностями.

Соответственно, с одной стороны, элита не имела внешнего мотива для развития проектности, с другой — теряла способность к такой деятельности. На известном этапе это вылилось в кризис целеполагания, когда элита свое положение в целом стала рассматривать как неколебимое, принимая легитимность проекта за свою корпоративную легитимность, полагая, что если будет осуществлен общекорпоративный выход за рамки проекта, никто не сможет на этом основании оспорить ее положение в обществе, и одновременно утратила способность к постановке новых стратегических целей в рамках базовых ценностей проекта, т. е. в рамках существующих принципов легитимности.

Это привело к корпоративному расколу. Часть элиты, не способная к постановке стратегических целей в рамках данного проекта, попыталась выдвинуть таковые вне данного проекта. Именно она оказалась носителем власти в период конца 1980-х – 1990-х гг. Другая часть элиты сохранила формальную верность проекту и возглавила оппозицию, однако она также была лишена навыков постановки стратегических целей в его рамках.

Проблема в том, что однако политическая действительность постоянно выдвигает запрос на такие цели: общество не может полноценно развиваться, не обеспечивая решения задач идеального альтернативного конструирования. Часть той элиты в принципе не могла его удовлетворить, не обладая для этого навыками

и способностями подобного действия, в принципе отвергая такую постановку вопроса. Другая, более открытая к условиям новой реальности, ощущала этот запрос. Не умея удовлетворить его в рамках проекта, но стремясь в его рамках остаться, она пыталась перенести установки из других проектов внутрь своего традиционного, что в результате дает варианты, подобные созданию «государственно-патриотической идеологии» при сохранении формально характерной для проекта атрибутики.

Вместе с тем, не имея навыка социально-преобразующей деятельности, она эти установки включает в свой проект лишь как ценности, не зная, как сформировать социальный образ, противостоящий действительности, и тем более как предложить альтернативный вариант развития, она оставляет этот образ в значительной степени декларативным, социальную инженерию заменяя пропагандистской риторикой.

Актив старого социального субъекта находился в условиях, которые требовали от него организации действия в рамках поставленных задач, что предполагало следующие характеристики.

1. От него не требовалась оценка, его деятельность рассматривалась как эффективная именно в зависимости от способности выполнять любые поставленные задачи.

2. От него не требовалось оценивать эти задачи на соответствие базовому проекту, поскольку предполагалось их априорное соответствие.

3. Сама его деятельность в основном протекала в рамках устоявшихся схем и не предполагала создание новых алгоритмов деятельности.

4. Условия предполагали, что масса воспринимает как естественную его организующую функцию, принимает исходящие от него установки как подлежащие непосредственному исполнению.

В результате для актива связь с проектом носила во многом вторичный характер, опосредованный идеологической функцией оправдания действия. В своих действиях он исходил либо из

пропагандистских рамок оценки своего действия проекту, либо на практике вообще не воспринимал это соответствие как ограничение исходя из чисто прагматических установок.

Часть актива, которая наименее была стеснена рамками проекта, в условиях его общей делегитимации ориентировала свои действия в новом проектном поле, либо сама ушла в новые экономические отношения, либо составила костяк новой директивной системы, на уровне личной идеологической позиции сохранив связь с прежней идеологией.

Другая, меньшая часть этого актива, стала активом коммунистического движения. Однако, с одной стороны, обладая лишь навыками инструктивного действия, с другой, не имея навыков политической борьбы, она осталась во многом закрытой для принятия новых алгоритмов и технологий политического действия и проявления политической инициативы.

При этом, поскольку в прежних условиях актив при организации действия работал с массами, участие которых в данном действии рассматривалось как естественное состояние, у него не выработывались навыки вовлечения в действие тех, кто такое состояние как естественное не рассматривает. Отсюда современный актив коммунистического движения не обладает навыками привлечения к работе тех, кто еще не пришел в движение самостоятельно, но чьи существенные интересы движение предполагает выражать, как и не может осуществлять мотивирующую трансляцию альтернативных конструктов будущего, созданных его же прошлым. То есть именно теоретически предназначенный для исполнения функции воспроизводства и передачи наследия будущего его же настоящим менее всего оказался способен к ее исполнению, из своего прошлого отчасти унаследовавшего само это прошлое, без сконструированных им конструктов будущего.

Соответственно, данный субъект альтернативности оказался во многом замкнут в кругу тех, кто уже примкнул к нему на ценностном уровне, кто защищает свои идеалы как свою веру и привычный образ жизни.

Для данного субъективированного начала, как на уровне элиты, так и на уровне актива, оказалась, среди прочего, общей еще одна характерная черта. Сформировавшись в условиях аппаратно-бюрократической деятельности, они стали носителями характерных для нее алгоритмов. Положение в этой системе во многом зависело, с одной стороны, от точного соблюдения выработанных схем действия, а с другой — от количества совершенных ошибок. Оценка действия осуществлялась в значительной степени не по достигнутому результату, а по соблюдению принятых правил.

Внутри элиты и актива существовала своя конкуренция, однако одной из главных ее черт было отсутствие личных ошибок. Достижение успеха при нарушении принятых правил могло быть оценено положительно, в этом отношении неверно говорить, что инициатива не поощрялась. Однако если отсутствие успеха в зависимости от степени соблюдения правил и установок рассматривалось как не зависящий от исполнителя результат, если он действовал в соответствии с последними, либо как его личная неудача, если он шел на риск их нарушения.

В результате инициативное действие могло сулить и успех, и поражение, тогда как инструктивное действие не было связано с риском. Отсюда главным фактором корпоративного успеха становилась минимизация ошибок. Тот, кто совершал ошибку, рисковал потерять место в корпорации и замещался тем, кто явных ошибок не совершал.

Это вырабатывало установку на минимальное совершение ошибок, которая переходила в неосознанный навык. Избирая вариант действия, человек стремился избежать возможности совершения ошибки даже не потому, что боялся риска осознанно, а потому что все его привычки и навыки приводили его к такому решению.

Отсюда инновации избегались неосознанно, как несшие в себе скрытую угрозу, вне зависимости от того, были они чреватые ошибками или нет.

Однако лучший, наиболее гарантированный способ избежать ошибки — это устранение от действия как такового. Поэто-

му, если представлялся выбор — действовать или уклониться от действия, избирался второй вариант, актер предпочитал выживание, наблюдение за тем, как будет разворачиваться ситуация, приобретал черты субъекта-подданного.

Эти алгоритмы срабатывали в условиях стабильной системы, осуществлявшей развитие по инерции данного десятилетия назад толчка. Отчасти они продолжали оправдывать себя для той части элиты и актива, которые интегрировались в новую систему. Однако для элиты и актива оппозиции они оказались контрпродуктивны.

Вся история 1990-х гг. показала, что тактика субъективированного носителя позднесоветского темперамента носила выжидательный характер, направленный на предоставление возможности власти совершить ошибку, которая даст возможность оппозиции прийти к власти.

Однако хотя эти алгоритмы были во многом свойственны и властной элите, и бюрократии, она отличалась от оппозиции тем, что включала в себя элементы, ориентированные на действие и мобилизацию. В отличие от старой элиты, они действовали в условиях реальной конкуренции, когда реально существовал субъект, претендующий на их замещение. Властной элите, особенно тем ее фракциям, которые выдвинулись в результате вновь возникшей в обществе политической борьбы, было что терять, тогда как субъект альтернативности ничего не терял при очередной неудачной попытке претензии на ценностно-целевое доминирование.

Лидеры властвующей элиты стали таковыми, потому что оказались носителями действия, лидеры альтернативности стали таковыми во многом благодаря своему старому статусу.

Третий компонент старого социального субъекта — масса. По своему функциональному статусу она была включена лишь в непосредственное исполнение поставленных задач, причем ее роль была сугубо инструктивна.

Более того, в ранний «героический» период советской истории сама мобилизационная установка, выдвигаемая компартией

в рамках стратегического проекта, требовала активного массового участия граждан в его осуществлении, участия осознанного, иногда на грани возможного, а потому участия в значительной степени не инструктивного, а творческого. В поздний период, с исчезновением мобилизационной установки, от масс требовалась не активная, а пассивная легитимность: признание права компартии на власть, исполнение четко поставленных задач и успешная производственная деятельность. От рядовых членов партии требовалось поддерживать решения партийного руководства на собраниях, соблюдение установленных норм в личной жизни и, в лучшем случае, демонстрация трудовых успехов. Несанкционированная общественная активность рассматривалась как нежелательная, а несанкционированное действие практически не допускалось.

С проектным началом масса была связана лишь на уровне признания базовых ценностей, которые, к тому же, трактовались в информационном поле весьма схематично.

В результате значительная часть массы воспринимала даже эти ценности как чисто формальные, не обладающие самоценностью, не связанные с ее повседневной деятельностью и социальным опытом. Она относительно безболезненно восприняла официальный отказ от них именно потому, что была приучена считать правильным то, что акцентировалось активным началом информационного поля, и при изменении последнего не вставала перед необходимостью менять алгоритмы своего поведения, даже когда на уровне стихийной идеологии осталась в поле прежней ориентации.

Та часть массы, которая все же ощущала связь с этими ценностями, ощущала ее во многом на символическом уровне. Она привыкла к определенным словам, определенной лексике, привычному разделению понятий на хорошее и дурное. Ее неприятие новых социальных условий в значительной степени было неприятием новых слов и суждений, а не неприятием новых условий жизни, даже когда они ее не устраивали, а они не устраивали большинство.

Пострадавшие от новой политики разделились в своих предпочтениях не на тех, кто принял эти условия, а кто нет, а на тех, кто не хотел принимать новые слова, вставая на защиту старых, и тех, кто не придавал им особого значения и не воспринимал следование первых старым культурным образцам больше, чем новые не устраивающие их социально-экономические условия.

Сохранившая вербальную верность старому проекту часть политической массы была готова к защите этого проекта, но абсолютно не была готова к политической деятельности. Прежние условия воспитали в ней следующие черты:

1) признание права на руководство ею элитой субъективации, оспаривание которого воспринималось ею как покушение на сам проект;

2) готовность признать право политического актива на организацию действия;

3) ориентацию на активность преимущественно в своем кругу;

4) признание своей политической элиты как выразителя и толкователя базовых положений политического проекта;

5) готовность к исполнению относительно простых практических поручений своего актива, не требующих сложных политических действий;

6) привычку к упрощенным интерпретациям происходящих процессов с использованием стандартных языковых образцов;

7) ориентацию на одобрение или осуждение тех или иных политических реалий как основной формы политической деятельности без навыка организационной и политической борьбы за реализацию своих политических требований;

8) ожидание проявления политической инициативы элитой проектной субъективации;

9) отсутствие навыков восприятия новых приемов политической работы и самостоятельной деятельности по организации вкруг себя несубъективированной массы.

В результате в политической жизни современной России формально сформировался субъект альтернативности, лишенный целевой альтернативности и видения наследуемого будущего, в основных чертах воспроизведший черты политического темперамента прежнего социального субъекта.

Этот субъект альтернативности опирался на мощную социокультурную и политическую традицию, обладал массовостью и выраженной на уровне электорального выбора политической поддержкой огромных масс населения. Он обладал организованностью и дисциплиной, являлся носителем устойчивых обычаев, традиций и культуры, но не способен был к их развивающемуся воспроизводству.

Вместе с этим данный субъект обладал крайне инертным политическим темпераментом, низкой способностью к социально-проектной и преобразующей деятельности, невосприимчив к инновациям и новым политическим приемам, лишен перспективной альтернативности и связи с образами своего же прошлого будущего.

Основу этой протоальтернативности составили люди, которые ощущали относительно высокую связь с альтернативностью коммунистического проекта на уровне ощущения органической связи с ценностями и культурой, олицетворяющей его в их сознании. Эта связь для них была достаточно сильной, чтобы выдержать информационную войну, которая велась против данного проекта в конце 1980-х гг.

В условиях массовой ломки сознания в конце 1980-х гг. верность этой альтернативности сохранили те группы и слои, которые оказались наименее подверженными социальным и информационным новациям, устойчиво держались привычных взглядов и установок. Однако именно эта их сильная сторона оказалась для них барьером, не позволяющим овладеть новыми идеями, новыми образцами поведения.

Устойчивые ценности и внутренние связи делали эту протоальтернативность практически неуязвимой для любой атаки на

нее со стороны мотивационно целевой доминирующей системы. И она сама, как организованное движение, и ее сторонники практически неуязвимы для информационного воздействия, устойчивы к компромату и информационным провокациям. Поэтому она удерживает позиции во время атак на нее и быстро восстанавливает их после вынужденных отступлений.

Вместе с тем высокая способность к политической обороне опирается на высокую степень инерционности. Это сковывает ее возможность политического наступления, понижая маневренность на фоне в целом низкой инициативности. Инерционный политический темперамент во многом ограничивает ее способность к наступлению условиями, возникающими после наиболее явственных ошибок доминирующей системы. Однако даже в таких случаях она умела наступать лишь на освоенном политическом поле. В результате, даже когда противник оказывался ослаблен и дезорганизован, явно утрачивал инициативу, темперамент не позволял этой протоальтернативности принять инициативу на себя, совершать преследование противника на его политическом поле.

В любом случае когда возникает ситуация, предполагающая выбор между активным действием и выжидательной позицией, эта субъективация *позднесоветского социально-политического темперамента* предпочитала второе, не умея бороться за победу.

В своих действиях они стремятся исключить любой риск, даже если в итоге он обещает крупный успех. Даже в заведомо выигрышных ситуациях они стремятся ограничиться небольшим, но безусловным успехом, жертвуя стратегией ради достижения тактического преимущества.

Парадокс заключается и в том, что, обладая политическими навыками, характерными не для собственно участника политического действия, а для субъекта-подданного, данный субъект претендует на роль непримиримой альтернативности. Однако подданный в принципе не может выполнять функции альтернативности ни системе, ни проекту, поскольку для последнего

нужны черты гражданина, способного разрушать систему для утверждения своего политического идеала.

2.3. Неприятие радикализма как специфическая черта субъективации наследования будущего в современной России

Воспроизведение черт позднесоветского темперамента старого социального субъекта в облике современной альтернативности закономерно обращается неприятием ею политического радикализма.

Само по себе это выглядит парадоксальным. Альтернативность, на знаковом, ценностном уровне отстаивающая радикальные политические конструкции в условиях общества, в котором официально утверждается закрепление противоположных принципов во всех их проявлениях и рыночной экономики, по определению должна находиться в радикально-непримиримых отношениях с существующей системой.

Однако на деле этого не происходит. Субъективированная альтернативность в целом ни на уровне программных установок, ни на уровне политического действия не выступает носителем радикального отрицания этого общества.

Безусловно, очевидна разница между ее основными течениями. Если наиболее крупный субъект альтернативности практически не выдвигает требований радикального изменения действительности, то более левые субъекты этой альтернативности, которых подчас называют леворадикальными, в своих программных установках и текущей пропаганде о таком изменении говорят.

Однако и они не являются носителем радикального действия, что показали все острые политические ситуации 1990-х гг., в частности — осень 1998 г., когда ситуация этому благоприятствовала.

Левые носители просоветской альтернативности действительно активно критиковали ее основного субъекта за оппор-

тунизм, говоря о своих стратегических расхождениях с ней. В программах ряда их структур содержится призыв ко «Второй Социалистической революции». При этом в сфере практического действия даже их критика сводится в значительной степени к обвинению своих оппонентов в нерадикальных методах работы.

Однако это было бы естественно, если бы левые субъекты альтернативности предлагали и осуществляли другие формы работы.

На самом деле форм политической борьбы за ценностно-целевое и директивное доминирование не так уж много. Это, во-первых, кулуарная элитная борьба; во-вторых, публичная политическая борьба, включающая в себя парламентскую как элемент, но сутью имеющая прямую открытую апелляцию к обществу; в-третьих, это прямое политическое действие, в первую очередь силовое; наконец, в-четвертых, это создание альтернативных форм общественной жизни, противостоящее существующему обществу примерно так, как ему противостояло движение хиппи — жизнь по своим правилам, по своим законам, при полном игнорировании существующего порядка вещей.

Не ведя парламентской работы, левые носители позднесоветского темперамента не ведут борьбу за доминирование и в других формах. Можно было бы понять их критику парламентаризма, если бы этой деятельности они противопоставляли действие хотя бы в одном из следующих направлений: развитие массового забастовочного движения; ведение вооруженной, партизанской либо террористической борьбы; подготовка вооруженного восстания и создание отрядов боевиков; наконец, организация действительно массовых акций протеста, парализующих деятельность оппонируемой системы.

Однако ни одно из них левые субъекты советской альтернативности не используют. В основном их деятельность включает в себя проведение тех или иных уличных акций: митингов, пикетов, демонстраций, которые становятся все менее многочисленными. Если в начале 1990-х им действительно удавалось

выводить на улицы десятки и сотни тысяч человек, если на первомайской демонстрации 1994 г., когда КПРФ уже вышла на политическую орбиту и имела прочные позиции в парламенте, левые еще доминировали на улице и могли позволить себе решать, предоставлять лидерам официальных структур доминирования слово на митинге или нет, то впоследствии утратили и это превосходство.

Причина этого ослабления кроется в том, что их мероприятия не содержали в себе последующей политической задачи. Носители идеи наследования выводили людей на улицу, провозглашали требования и расходились. Если для участников движения это была возможность заявить о себе и пообщаться в своем кругу, то для тех, кто готов был поддержать заявленные организаторами требования, данные акции не выглядели как продвижение в решении волновавших их задач.

Таким образом, данная форма работы из средства организации масс постепенно превратилась в самоцель, в некую форму клубного действия, где можно было в лучшем случае выплеснуть свои эмоции, услышать знакомые слова, получить удовлетворение от сознания того, что есть люди, которые думают так же, как и ты, и с удовлетворением разойтись.

На первом этапе восстановления данной альтернативности это играло продуктивную роль, поскольку в условиях, когда официальная пропаганда утверждала, что альтернативность разгромлена и ее больше нет, митинги левых опровергали это утверждение, заявляя: «Мы — есть!». Однако когда с последним утверждением согласилась и власть, и общество, оно утратило актуальность. Требовалось не только заявить, что альтернативность существует, но и показать, что она может, а митинги продолжали подтверждать данное утверждение, становившееся тавтологией.

Даже утверждение, что они против проводимой политики, утратило остроту, стало привычным и неинтересным, поскольку они маловнятно могли объяснить, что они предлагают как аль-

тернативу, и главное, не предлагало обществу, недовольному властью, ответа, что ему делать, чтобы изменить политику власти.

В отдельных случаях наследникам альтернативности удавалось соединить свои действия с действиями отдельных коллективов, вступавших в конфликт с системой. Однако такое совпадение происходило в большинстве случаев тогда, когда инициатива исходила от самих коллективов, а субъектам альтернативности удавалось включиться в конфликт уже после его возникновения.

Причины такого положения вещей также крылись в социально-политической практике позднесоветского периода.

Выше говорилось о том, что в своей политической деятельности данная альтернативность защищала не столько требования, рождающиеся из практики и противоречий новых экономических условий, хотя и апеллировали к ним, сколько образ привычного для них мира. Также отмечалось и то, что это был мир стабильности, отсутствия масштабных конфликтов. Именно эти черты, среди прочих, представляли ядро ценностных предпочтений альтернативности. Они защищали не свою идеальную конструкцию, не путь в будущее, не альтернативный вариант исторического прогресса. Они защищали привычный мир с его установками, традициями и ценностями.

В результате, в отличие от классических носителей своей альтернативности, они защищали стабильность и привычные культурно-поведенческие образцы от новых условий, от мира конфликтов и новой политической культуры. В таком противопоставлении борьба, конфликт, радикализм, которые для их собственной классической альтернативности, как и любой непримиримой альтернативности, есть лишь средство борьбы за свой политический идеал, для современной оказывались не средством, а характерными чертами того общественного устройства, против которого она выступала.

Если есть мир без конфликтов и радикализма и мир с конфликтами и радикализмом, то защита первого есть отрицание того, что связано со вторым, и может в первом приближении

выглядеть как отрицание свойственных ему конфликтов и радикализма.

Неудивительно, что в изданиях, присягающих советской альтернативности, можно встретить обвинение наиболее радикальных реформаторов в «большевизме», готовности разрушать страну в целях утверждения своих проектов. Возникает ситуация, когда политическая сила, поднимая знамя своей исторической традиции, отрицает в ней то, что является основой ее прошлого исторического успеха.

Для тенденции, защищающей мир без конфликтов и радикализма, включение в свой арсенал конфликтной борьбы и радикальных методов политического действия оказывается принятием правил и норм того мира, который она пытается отрицать.

Пытаясь противостоять иному для нее миру, она оказывается безоружной в противостоянии ему. Этот мир разрушает ее образы и ценности, противоречит тем чертам прошлого, которые она отстаивает. Однако нельзя противостоять системе, не разрушая ее опорных стержней, не пытаясь разрушить противостоящий мир. Но если рассматривать это противостояние как противостояние разрушению, то нельзя разрушение включать в свой политический арсенал.

Принять радикализм для этой протоальтернативности значит принять то, что она отрицает, подчиниться тем условиям, которым она подчиняться не хочет. Поэтому использование естественных нормальных методов политической борьбы, без которых эта борьба не может осуществляться, для протоальтернативности выглядит как моральное поражение, лишает смысла и содержания то, что она хочет защитить.

В этом отношении альтернативность постоянно уступает системе. Последняя готова к радикализму, поскольку само ее утверждение без него не было бы возможным. Сама ее победа стала результатом ее радикального отношения к существующей действительности. Она приняла историко-политический вызов, согласившись на разрушение старого мира и создание нового.

Субъективированная альтернативность состоит из тех людей, которые еще в позднесоветский период этого вызова не приняли. Они не согласились на разрушение старого мира даже для создания его нового состояния, для движения по пути его радикального развития.

Существующая система состояла из людей, которые взяли в руки оружие радикализма. Альтернативность состояла из людей, которые еще тогда отказались его брать. Соответственно, для нее обратиться к этому оружию сегодня, с одной стороны, крайне сложно, поскольку она не умеет с ним обращаться, а с другой стороны, невозможно, поскольку это означает признать, что она с самого начала была не права, от него отказавшись.

Прежняя социальная практика выработала в нынешних представителях альтернативности законопослушание, отрицательное отношение к политическим и социальным экспериментам, уважение к традиционным институтам власти. Однако, перенося эти черты в новые условия, альтернативность оказывается не способна выполнять те функции, на выполнение которых она претендует. Перестает быть альтернативностью наследуемого от прошлого его будущего, превращаясь в альтернативность наследуемого от прошлого его исчерпанного, изжитого состояния.

Превратившись в альтернативность позднего прошлого, она в принципе претендует на то, чтобы заменить современную социально-экономическую реальность России, которую она рассматривает как капиталистическую, на иную, социалистическую.

Однако замена одной социально-экономической формации на другую, по определению, во всяком случае в рамках исповедуемой ею доктрины, верность которой она рассматривает как свой сущностный символ, является социальной революцией, продуктом революционной деятельности по разрушению отрицаемого общества. Однако сформировавшаяся альтернативность имманентно не способна разрушать, в результате носителями революционной доктрины выступают люди, не способные к революционной деятельности. В итоге она оказывается в принципе

безоружной перед противостоящими ей условиями и, отрицая правила борьбы, присущие данной реальности, не имеет способов воздействовать на эту реальность как таковую.

Субъективированная альтернативность, претендующая на замену социально-политической реальности, по определению, функционально стремится ослабить и дезорганизовать все структуры, на которых держится данная реальность.

Она высмеивает доминирующую ценностно-мотивационную систему. Десакрализует религию, освящающую сложившуюся. Поддерживает те фракции элиты, которые оказываются левее власти, добиваются ее ослабления.

Отвергая нынешнюю реальность как конфликтную и враждебную защищаемому ею образу стабильности, она отвергает все то, что является в ней началом конфликта, может ее разрушить, и принимает все то, что является началом стабильности и эту реальность укрепляет. В итоге она практически отвергает приносимую этой реальностью классовую борьбу как начало конфликта и на деле заменяет формирование классового сознания формированием национального сознания, что, в конечном счете, всегда служит интересам экономически господствующего класса.

Кроме того, само представление о приемах и технологии политической борьбы, носителем которого является данная альтернативность, является воспроизведением пропагандистского отражения ее сути, свойственного поздней советской идейно-политической доктрине.

Поскольку защищаемый ею мир не только мир экономических реалий, но и мир знакомых понятий, знакомых слов, оппозиция в противопоставлении с реальностью начинает защищать и его, т. е. защищать привычные слова. Защита своей цивилизации, защита социокультурной среды естественно предполагает защиту языка. Последний начинает приобретать не содержательный, а символический характер. Говорить так, как говорили в позднесоветском обществе, — значит сохранять частицу этого общества. Использование других непривычных слов

воспринимается как отказ от своего мира, как социокультурное предательство.

Поэтому данная альтернативность оказывается в плену старого языка, в плену, который не позволяет ей использовать те понятия, категории и лексику, которые больше понятны современному обществу, могут помочь устранить разрыв с ним и повести за собой.

Даже когда это нужно для политической победы, она не может себя переломить, поскольку добиться, чтобы общество вернулось к ее языку, для нее важнее, чем взять власть в обществе, говорящем на своем.

Устраняя из своего арсенала те начала и понятия, которые не были освещены поздней советской пропагандой, она справедливо видит в них то, что помогло разрушить ее общество. Однако одновременно она лишается того, чем можно противостоять обществу, пришедшему на замену последнего.

Политической борьбе, которую ведет против нее энергичная и хищная власть новых групп, опираясь на опыт рекламы, изучению особенностей психологического восприятия масс, чуткому анализу их настроений и ожиданий альтернативность противопоставляет инерционные образцы позднесоветского партийного просвещения, однако лишенные методической последовательности и глубины последнего. Если борьбу власти направляют и координируют опытные и высокооплачиваемые политтехнологи, за которыми остается последнее слово в определении методов и приемов борьбы, политическую борьбу и пропаганду альтернативности направляют статусные представители субъективированных структур, уже проигравшие все пропагандистские кампании последней трети века.

В результате если в ходе пропагандистских и информационных войн представляющая реальность система в определении приемов и лозунгов исходит из того, как они повлияют на политическое и электоральное поведение масс, альтернативность при

определении своих лозунгов исходит из того, насколько, в лучшем случае, они согласуются с привычными информационно-политическими клише прошлого, а в худшем — насколько они соответствуют ее представлению о патриотизме. Выдвигая свои лозунги, определяя свою лексику, система исходит из того, воспримет ли население их звучание, а альтернативность — из того, привычны ли они ее восприятию.

Система агитирует социум, субъекты альтернативности — самих себя.

В результате ее носители постоянно воссоздают противоречие между радикальностью базовых требований своей официально исповедуемой ценностно-целевой системы, и собственным полным отрицанием радикализма, политических установок и политических действий.

Однако это противоречие воплощается в противоречии между ожиданием радикальных результатов и отсутствием радикального действия. Это создает определенный энергетический потенциал, который накапливается в темпераментно инертном социальном субъекте на разных его уровнях. На эмоциональном уровне энергетизм переполняет все большее число представителей данной протоальтернативности. Не реализуясь в реальном политическом действии, он требует своего выхода, рвется наружу, ищет способы своего выхода в псевдорадикальном поведении.

Сам по себе этот потенциал нравственного негодования может либо быть двигателем радикального организованного политического действия, направляемого субъективированной альтернативностью в целях сознательного и последовательного разрушения системы, либо в политических радикальных эксцессах, подобных политическому терроризму, и диверсиях.

Для существующей протоальтернативности первое оказывается невозможным в силу как отсутствия проекта такого действия, так и отсутствия навыка сознательного вмешательства в отношения противостоящей реальности.

Однако и второе оказывается невозможным уже в силу неприятия радикализма, неготовности к разрушению и законопослушности.

Единственным полем, на котором постоянно относительно успешно действует протоальтернативность, является кулуарная внутриэлитная борьба, в которой продуктивными оказываются навыки аппаратно-бюрократической игры, привычной для ее элиты и отчасти актива.

Однако это поле деятельности не может исполнять роль сброса накапливаемой энергетики. Во-первых, именно ей радикализм решительно противопоказан, во-вторых, в ней занята лишь небольшая, высшая часть данной субъективированности.

Другим пространством, доступным для сброса этого потенциала, является политическая риторика. Во-первых, это пространство является для альтернативности открытым, особенно в условиях провозглашенной свободы слова, когда самые непримиримые и устрашающие заявления в большинстве случаев просто игнорируются властью. Во-вторых, это пространство привычно для представителей альтернативности.

С одной стороны, она историко-политически воспитана на своего рода вербальном восприятии исторических процессов. Поскольку знакома с историей, в частности историей революционного и коммунистического движения, в основном по упрощенно-пропагандистским образцам, она в значительной степени воспринимает ее как историю слов и лозунгов. В ее историческом сознании доминируют формулы: «В этих условиях, вернувшись из эмиграции, В. И. Ленин выдвинул лозунг...», «В этих условиях 6 Съезд партии принял курс на вооруженное восстание...», «В этих условиях партия поставила задачу...» — и далее следует описание достигнутого политического результата. Что следовало за принятием того или иного курса, какие организационные и политические усилия предпринимались, как, сжав зубы, партийные лидеры и сама партия напрягали все мышцы, нечелове-

ческим усилием беря намеченный рубеж, — остается за рамками обыденного оппозиционного сознания.

С другой стороны, как указывалось выше, именно принятие заявлений об осуждении или одобрении было наиболее привычной формой политической деятельности значительного числа представителей этой тенденции в позднесоветский период, политический опыт которого она транслирует в сегодняшние условия.

С третьей, именно публичная активность на митингах, собраниях и демонстрациях остается основной формой проявления политической активности большинства представителей альтернативности.

Отсюда политический процесс в значительной степени воспринимается как череда верных и неверных магических заклинаний. Вся проблема воспринимается как проблема артикуляции нужного заклинания. В результате, когда провозглашенный лозунг не рождает результата, субъект начинает произносить его все более высоким голосом либо начинает искать более резкий, задевающий восприятие лозунг.

В результате сброс энергетики происходит в словах, в выступлениях на публичных мероприятиях, где, к тому же, есть шанс, что наиболее скандальные высказывания будут оттранслированы СМИ.

Однако и здесь протоальтернативность сама создает для себя ловушку.

Во-первых, лексика все более насыщается радикализмом, с одной стороны — без внутреннего ощущения готовности к радикальному действию, с другой — для общества она воспринимается как абсолютно не соответствующая политической практике оппозиции. Все более накаленная лексика при отсутствии реального политического действия и абсолютном неприятии радикальной политической практики в лучшем случае воспринимается как сильный жест слабого субъекта. Последнее всегда есть ситуация, когда реальность терпит поражение в соотношении с идеалом, оказывается меньше, незначительнее последнего.

Политически такое отношение вызывает отторжение, эстетически характеризуется как комическое.

Во-вторых, попытка все более и более радикализовать лексику выводит ее за пределы как своей традиционной лексики, так и за пределы обычных, не только политических, приличий. В ситуации когда вся пропаганда альтернативности развернута с классовой доктрины на патриотическую, крайние проявления радикализации в этом направлении просто выводят ее из политического в обыденно-ругательное поле, придают радикализму базарную лексичность.

Именно эти случаи умело фиксируются и транслируются официальными СМИ, которые создают зрительный ряд, вызывающий соответствующее отношение ко всей данной альтернативности, что наносит ее образу значительно больший ущерб, нежели телевизионные выступления наиболее известных пропагандистов системы.

Носители альтернативности энергетически разряжаются в псевдорадикализме, который, с одной стороны, сбрасывает накапливаемую энергию, не давая ей найти путь реализации в практическом политическом действии, с другой, он воплощается в карикатурных образцах, позволяющих реальный образ самой альтернативы, а не только собственно альтернативности, в глазах общества замещать карикатурой на нее как таковую, создавая дополнительный барьер в ее отношениях с массами.

Глава 3

Вызовы и самоопределение наследования. Рубеж решения

В ситуации определившихся вызовов наследуемому проекту и требовании самоопределения в решениях по сохранению проекта при его радикальном преобразовании возникает запрос на субъект альтернативности, способный: 1) принимать вызовы деструктивности и от мобилизовываться для их ответа на них; 2) обладать креативным потенциалом, позволяющим формулировать проблематику противоречивости с точки зрения базового интеллектуального инструментария этой проектности; 3) воспроизводить в культурно-накаленном художественном плане привлекательные философски-художественные формы предлагаемой им сохраненной опережающей проектности; 4) воспроизводить социальный идеал как продолжение принятой альтернативной конструкции в ее пролонгирование в формы будущего; 5) обеспечить мотивационную ценностно-целевую систему, с одной стороны, воспроизводящую образы развиваемой проектности, с другой — расширяющую массовость человеческого потенциала, принимающего проектный идеал и ретранслирующий его в своей деятельности.

Сложившееся к середине 1980-х гг. состояние страны при всем своем потенциале системно исчерпывало себя, требовало реализации собственного будущего, которое предполагалось его альтернативным конструированием. Но сформировавшийся в стране социальный субъект действия не видел ни способов разрешения сложившихся противоречий, ни самих образов нового будущего состояния, в силу темпераментных ограничений не способный ни к позитивному наследованию будущего, ни к конструированию позитивных альтернатив настоящему.

Утратив способность антикризисного действия, он утратил способность ответа на вызовы, — и унаследованный им же потенциал начал вырываться из его рук.

Задачи, которые эпоха ставила перед страной и обществом в ранний «героический» период советского общества и в его поздний «золотой век», были объективно разными. В рамках первого стояла задача создания промышленной мощи, мощи индустриальной экономики, но в XX в. это уже не могло быть стратегической целью. Вставала задача создания постиндустриальной экономики, задача нового прорыва, по масштабам сопоставимого с прорывом 1920–1940-х гг. Чтобы ее поставить, мало было быть эффективным исполнителем, надо было уметь видеть проблемы за горизонтом сегодняшнего дня, понимать и осознавать общий вектор развития цивилизации.

Для этого надо было либо обладать уровнем мышления концептуальных стратегов начала советского периода, либо напрямую столкнуться с угрозой отставания страны, столкнуться с превосходством остального мира и осознать потребность перехода к новой производственной эпохе как потребности исторического выживания, что, собственно, и сделало в своем социально-экономическом векторе капиталистическое общество. Первых не осталось (как по историческим, так и по физиологическим причинам), второе еще не проявилось в осязаемом состоянии.

Все было хорошо: экономика работала, космос осваивался, благосостояние росло, мировые враги проигрывали и шли на уступки... «Золотой век» достигнут. И правящее поколение, высший менеджмент, а за ним и остальное общество утрачивало качества «Мира Фронтيرا», каким оно было еще недавно.

Главными пороками брежневского общества и брежневского периода оказались достигнутый им блеск, его мощь, его благосостояние. Как когда-то могущественную Испанию погубило золото, тоннами вывозимое из Нового Света и сделавшее неактуальным развитие собственной промышленности и экономики, так и советское общество привели на грань катастрофы его сила и его успехи, достигнутые в иную производственную эпоху.

Властвовавшая в нем генерация была генерацией оруженосцев, которым достались доспехи героев. Но они хотя бы умели носить эти доспехи. На смену им шли другие — их оруженосцы, оруженосцы оруженосцев. Не ковавшие этих доспехов, не знавшие, как их носить, не видевшие битв, в которых эти доспехи дарили победы. А самое главное и самое страшное — они не знали, как делать новые доспехи. Из всех возможных применений доспехов они твердо знали лишь одно: что их можно выгодно продавать.

Основная беда и основной порок этого блистательного периода были не в тех заметных, но относительных проблемах, о которых любят вспоминать его критики, — дефиците и бюрократизации, а в том, что общество забыло, что не это главное. Общество, уставшее от собственных свершений и сменившее френч на смокинг, утонувшее в благополучном расслаблении, постепенно утратило из виду, что главное — это не благополучие и изобилие на товарных полках, не комфорт и потребление, а развитие, напряжение, стремление «сегодня» построить мир «завтра».

Утратив тот внутренний настрой, ту внутреннюю целеустремленность в будущее и ту привычку к напряжению, которые обеспечили его прежние победы, оно как лишилось способности к прорыву завтра, так и не обрело благополучия сегодня. И обрело себя на то, что и вытекало из этого с неизбежностью — созданное могущество стало терять управляемость и вырываться из рук его создателей.

3.1. Чернобыль. Принятый вызов

Синхронно с кризисом проектности страна столкнулась с кризисом техногенности: в Чернобыле страна столкнулась с вызовом самих себя. Вызовом силы, которую сами создали. Там все было рукотворным: атомная энергетика и сама Чернобыльская станция, ошибки операторов и известная первоначаль-

ная бестолковость реакции на катастрофу, подвиг ликвидаторов и укрощение, победа над вырвавшейся силой.

Чернобыль предупредил об опасности — и Чернобыль породил массу мифов и фобий.

Чернобыль сам подвел черту под беспечностью раннего идеализма атомной энергетики — и Чернобыль сам нуждается в собственном преодолении.

Чернобыль показал, что человек может натворить, — и Чернобыль показал, что человек может преодолеть.

Чернобыль показал, что случится, если творение человека вырвется из под его контроля, — и Чернобыль показал, что случится, если на пути вырвавшихся сил встанет тот же человек.

В конечном счете мы до сих пор не знаем, что именно там произошло. Разбираться в версиях, не имея специального образования и работы с такими устройствами, бессмысленно и нелепо.

Есть две основные версии: что виной взрыву конструкция реактора и что виной взрыву сугубо субъективный фактор — нарушения эксплуатационного регламента.

Правда, такую же конструкцию имели еще более десятка реакторов, но на них все обошлось без аварии. И сам четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС до аварии проработал два с половиной года. То есть если в самой конструкции в последующем и обнаружили недостатки, то не ведущие фатально к катастрофе.

Регламент же работы действительно, судя по всему, был нарушен.

И все же что именно произошло — мы так и не знаем. Мы не знаем, что именно привело к аварии — конструкция, ошибки или имевший место по ряду наблюдений сейсмический толчок.

И мы даже не знаем, что именно взорвалось, неизвестна и не установлена до конца природа взрыва: был это паровой взрыв, разрушивший реактор и приведший к выбросу ядерного топлива, или по природе своей своеобразный ядерный микровзрыв среды, вынесенной в операционный зал.

Более того, мы с полной уверенностью не знаем, сгорело ли в этой аварии все ядерное топливо, что следует из одних заключений, или что 95 % его так и осталось в саркофаге, как следует из других.

Мы до конца не знаем, что именно мы победили и каковы были бы последствия того, если бы в битве с аварией страна потерпела поражение. Потому что только по одной из вполне обоснованных гипотез, если бы реактор прожег бетонную подошву, он ушел бы в подземные озера Припяти и не только отравил весь водный массив, но и, мгновенно вскипятив его, привел к колоссальному паровому взрыву, который, по некоторым оценкам, принес бы гибель чуть ли не половине Европы.

И не произошло это только потому, что донбасские шахтеры-добровольцы прорывались и прорубились вовремя под подошву реактора и сумели ее укрепить.

Сейчас одни сравнивают катастрофу в Чернобыле с катастрофой на Фукусиме, другие говорят, что если в Чернобыле все было скрыто от освещения, то в Японии события полностью раскрыты для освещения в прессе и оповещения общественности. Только даже США явно проявляют откровенное раздражение тем, что не могут получить от своего союзника необходимую информацию о происходящем на станции.

И мы знаем, что там, в Чернобыле, летчики вели вертолеты в эпицентр радиации и засыпали реактор тоннами дезактивационной смеси, хотя сейчас в Японии «открытость информации» позволяла в эфире наблюдать, как японские летчики точно сбрасывали воду на остывшие реакторы и резко уходили в сторону над аварийным, сталкиваясь с показателями датчиков о повышенной радиации.

И главное, чего мы не знаем, — произойди такая катастрофа сегодня, сможет ли сегодняшняя Россия и сегодняшняя властная система подавить вырвавшиеся силы так, как это сделал СССР и его система треть века назад.

600 тысяч человек пошли тогда спасать окрестные города, природу и миллионы людей, а возможно, и пол-Европы. Система

сумела на свою технологическую ошибку ответить мобилизацией, концентрацией средств и массовым героизмом. И поддержкой всей страны: открытый тогда «счет 904» собрал за полгода 520 млн тех еще не обесцененных «тяжелых рублей» — по нынешнему счету чуть ли не полтриллиона рублей, или примерно 30 млрд нынешних долларов.

Чернобыль породил множество мифов — о чуть ли не сотнях тысяч погибших и смертельно пострадавших от катастрофы. На самом деле среди выполнявших аварийные работы 134 человека получили острую лучевую болезнь. В 1986 г. от нее умерли 28 человек. Еще три человека погибли тогда по причинам, не связанным с радиацией. И в период 1987–2004 гг. умерли 19 человек.

Среди не достигших во время аварии 18-летнего возраста в период 1990–1998 гг. было зарегистрировано 4 тыс. случаев заболевания раком, часть из этих случаев считают прямым следствием облучения. 15 человек от нее уже умерли.

Гибель каждого человека — трагедия. И это страшно. Но это в любом случае не сотни тысяч.

И тогда после Чернобыля, и сегодня после Фукусимы катастрофы рождают шок и отчаяние. И призывы отказаться от атомной энергии как таковой. Как и любой пожар может привести к отчаянию и требованию запретить использование открытого огня.

Хотя на самом деле атомные станции действительно на порядок безопаснее тепловых и, как ни парадоксально, практически не загрязняют окружающую среду: пока не взрываются. Тепловые пока загрязняют ее постоянно.

И действительно, как показывают все наблюдения и все исследования, зоны вокруг атомоградов экологически безопаснее и чище, чем те местности, в которых их нет: потому что находятся под постоянным контролем и живут в условиях повышенных мер безопасности. И здоровье граждан там лучше — просто потому что действует жесткая система профилактических наблюдений и мер, вскрывающих опасность заболевания на ранних стадиях.

Правда, точнее было бы сказать, что так было в советское время — что происходит в здравоохранении сейчас, не знает никто.

Но важнее другое. Философский и мировоззренческий вывод. Авария в Чернобыле была трагедией. Но она была и шагом на пути познания, который сам по себе останавливать бессмысленно, и остановка его может вести только к еще более страшным трагедиям.

Чернобыль показал, что может случиться, если не держать созданных человеком драконов под жестким контролем. Как сказал на одном из заседаний Политбюро ЦК КПСС, посвященных катастрофе, Алексей Рыжков, Премьер-Министр СССР: «...Разболтанность. Если бы не произошла она здесь и сейчас, произошла бы в другом месте. На заре АЭС все было поставлено строго и добротнo. Постепенно атомная энергетика вышла за границы Славского (*т. е. Минсредмаша*), но “не вышла” вместе с ней дисциплина» (<http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/769059-echo/>).

Но Чернобыль показал и то, что даже эти вырвавшиеся на волю драконы все равно смиряются, когда человек не впадает в панику, а набирается смелости взять их за горло.

И Чернобыль показал, что человек в силах принимать вызовы и достойно на них отвечать. Если сохраняет свою самоидентификацию, осознает свои цели и способен на вызов отвечать мобилизацией. И если знает, чего хочет, а не начинает подменять свое идентифицированное целеполаганием идентификационными метаниями в попытках постоянно менять свои ценностные ориентиры.

3.2. Евразийство и европеизм: полемика невнятных

Споры по поводу того интеллектуально-виртуального явления, которое принято называть «евразийством», на самом деле не слишком конструктивны, поскольку предельно неопределенно понятие самого евразийства, как, впрочем, и понятие «Евразии», если не понимать его сугубо географически. И точно так же, как

понятия «Европа» и «Азия», если пытаться придать им некое историко-цивилизационное значение.

Стамбул и Москва находятся на одном и том же меридиане, причем первый даже чуть западнее Москвы, а Свердловск, Красноярск и Владивосток намного восточнее и Стамбула, и Анкары, и Тегерана, что не делает последние Западом и Европой, а первые — Востоком и Азией.

То есть, используя парные противопоставления «Европа и Азия», «Запад и Восток», участник дискуссии говорит не о собственном значении этих слов, а о некоем образном, метафорическом, кажущемся интуитивно-понятном, но том и таком, чему сами оказываются не способны дать четкое определение.

Поэтому проблема всех «евразийцев» в том, что они никогда не могли четко сформулировать свои мысли и занимались в общем-то не философией и не политической философией, а некой «поэтико-философией». Собственно, все они и были не столько учеными, сколько поэтами в прозе.

Впрочем, все это можно отнести, с одной стороны, и ко всем ставшим сегодня модными русским консерваторам конца XIX — начала XX в., которые свое неприятие и либерализма, и социализма облекали в формы не столько научного оппонирования, сколько образно рефлектирующего неприятия.

Но самое интересное, что и оппонировавшие евразийцам «европеисты» делали примерно то же самое: и в силу того, что пытались оппонировать неопределенности, не указывая на ее неопределенность, а споря большей частью на том же уровне собственного рефлектирующего образного неприятия уже их «евразийской позиции».

Ни одни, ни другие не могут вести плодотворную дискуссию, потому что ни одни, ни другие не дают внятного определения тому, о чем они спорят, и используют скорее метафоры и образы: «Европа и Азия», «Запад и Восток» — без их реального наполнения и содержания.

И дальше в этих неопределенностях начинается спор, какая из неопределенностей лучше и какая хуже, и, соответственно, к какой из них или к какому их сочетанию относится еще одна, в этом споре тоже неопределенность, как Россия.

Собственно говоря, «евразийцы» в этом отношении выступают как своего рода толкиенисты, описывающие некий заманчивый, сказочный и никогда не существовавший мир Средиземья. «Европеисты» вместо отрицания этого мира как сказочного и нереального либо начинают спорить о нем же, т. е. о том, где в этом мире расположена Россия, либо выступают уже как, скажем, поклонники не Толкиена, а Урсулы Ле Гуин и ее мира Земноморья, — и дискуссия оказывается не дискуссией философов и ученых, а спором фанатов фэнтези на тему о том, чем на самом деле является мир, в котором они живут: Земноморьем или Средиземьем.

Кстати, Средиземье Толкиена — это континентальный мир, по краям которого где то вдали, наверное, есть все же и море, а мир Земноморья Ле Гуин — это мир большей частью морской, в котором рассыпаны большие и малые острова.

Интересная переключка с дискуссией о том, какая цивилизация выше — морская или континентальная, и какие страны более успешны. Вся парадигма соревнования первого типа со вторым в доктринально философском плане сводится частью к поэтике, частью к пропаганде — обоснованию превосходства России как континентальной цивилизации над США, как морской, превосходству и грядущей победе «Русского мира» над «Миром англосаксонским». Но частью — к действительной рациональности: вопросу о том, что может обеспечить более динамичную и более эффективную систему коммуникаций — морские пути или сухопутные, а отсюда — что важнее для страны контролировать — сушу или море.

И все это на самом деле исторически преходяще: пока не появилось дальнее судоходство и возможность плавать против ветра, наземные коммуникации были основными и более мо-

гущественными были страны, владевшие наземной коммуникацией. Собственно, мореплавание потому и получило толчок к развитию, что основные континентальные трассы оказались монополизированы возникшей Османской империей.

Фрегат коммуникационно оказался эффективнее каравана. Паровоз составил ему конкуренцию. Кстати, победа советской власти в ходе Гражданской войны — это во многом коммуникационная победа железной дороги над флотом: революционеры контролировали основную часть железных дорог, режимы белых генералов — большую часть портов. Морем иностранные союзники перебрасывали белым вооружение, технику, снаряжение и подкрепления, но ленинское правительство мобильно по железной дороге перебрасывало и ресурсы, и войска с фронта на фронт, громя белые армии по частям.

Спор о том, что важнее для страны — контролировать сушу и сухопутные коммуникации или море и побережья, частью беспредметный, поскольку общемировая коммуникация включает в себя и одни, и другие: пароходы не ходят по суше, поезда не ездят по морю, а отчасти отвлечен, потому что имеет значение только для конкретных обстоятельств.

Из Владивостока до Ленинграда доставлять грузы удобнее по железной дороге, из Сан-Франциско во Владивосток — по морю.

Спор о сравнительной эффективности морского пути или наземного (а еще и воздушного) имеет смысл лишь тогда, когда речь идет о пунктах, связь между которыми возможна и одним, и другим способом.

Но важнее тем не менее другое. Строго говоря, если представить себе возникновение державы, доминирующей на огромном материковом пространстве, но лишенной возможности использовать морские пути, она достаточно быстро найдет способ сделать свои сухопутные пути более эффективными, чем утраченные ею морские. Или, разумеется, перестанет существовать.

Вопрос контроля над территориями — это вообще много больше, чем вопрос контроля коммуникаций, особенно в усло-

виях развития авиационных сообщений. Контроль над территорией — это контроль над ресурсами. Собственно, коммуникации — это всего лишь один из многих ресурсов современного мира. Территория — это нефть, газ, руда, энергетика, пространство промышленного освоения.

Тезисы о том, что Евразийский Союз и евразийская интеграция есть интеграция с не имеющими выхода к морю и не самыми передовыми технологическими и промышленно странами и потому имеет мало смысла, так же как присоединение к этой интеграции Армении или Таджикистана, просто исходят из очень упрощенных шаблонов и очень плохого знания этих стран и понимания их положения в мире. Армения — это плацдарм на Ближнем Востоке. Таджикистан — на Среднем. Афганская кампания была связана не столько с оборонительными задачами защиты среднеазиатских территорий: в этом отношении именно дружественным и нейтральным Афганистаном они были достаточно прикрыты — она, в конечном счете, ставила своей задачей и создание надежной границы с Индией, и обеспечение выхода к Индийскому океану с его стратегическими коммуникациями, и, в перспективе, выход через Иран на Ближний Восток. Идея, среди прочего, была и в том, чтобы блокировать поставки нефти из его стран в США. Но это уже рассматривалось в более отдаленной перспективе.

То есть доминирование над сушей в итоге ведет и к контролю за морем.

При этом даже если оставаться строго в рамках экономической логики, значение, к примеру, такой на сегодняшний день несчастной и разрушенной страны, как Таджикистан, куда больше, чем может показаться исходя из его нынешнего экономического состояния.

Таджикистан — это зона наложения интересов и политических устремлений минимум трех глобальных игроков (не считая России): Ирана, Китая, США, а еще Турции, Саудовской Аравии, афганских талибов, интернациональной наркоторговли.

Биться за Таджикистан и свое воздействие в нем означает противостоять этим интересам. Но отрешиться от собственно обоснованного права на воздействие в этой геополитической точке означает дать ее другим. И, предоставив другим геополитические достоинства, передать в их руки плацдарм для предстоящей и мировой экспансии, в том числе экспансии в направлении и вглубь России.

Экономика Таджикистана сегодня в разы уступает экономике Таджикской ССР.

Таджикистан сегодня — одно из самых бедных государств, но при этом одно из очень богатых природными ресурсами, которые никто не разрабатывает.

Растиражировано представление о Таджикистане как о преимущественно аграрной стране, с многочисленным, не вмещающимся в свои границы населением и высокой рождаемостью, низким уровнем образования и неразвитой культурой. Полу-монголией-полуафганистаном.

Абсолютно все здесь неверно. Таджикистан — зона возникновения одной из древнейших культур мира. По сути дела, как минимум столь же древней, как и греческая культура. На территории СССР это вообще древнейшая культура. То есть таджики, вообще-то говоря, древнейший народ России.

Таджикистан в сознании подчас ассоциируется с зоной ислама и монголоидной «желтой» расой.

На самом деле принадлежит к индо-пакистанской группе народов (т. е. как бы нечто среднее между индусами и персами), первоначально страна вообще называлась «Страной Ариев» — т. е. таджики принадлежат к «белой» европеоидной расе, они (для особо расово и этнически впечатлительных) арийцы.

В прошлом — страна, относившаяся к древнегреческому ареалу влияния. Эллинистическая культура. Поклонялись всем тем богам, которые нам известны по истории Древней Греции.

Древняя письменность. Древняя литература. Древняя архитектура.

Все население Таджикистана почти в два раза меньше населения Москвы: семь с половиной миллионов человек — и уж миграционно подавить коренное население России они не смогли бы. Кстати, обычно таджики очень трудолюбивы и добросовестны, хотя сама по себе ипостась «трудовой миграции», вполне естественно, эти качества «сглаживает».

Более 90 % республики — горы, просто набитые природными ископаемыми. Огромный гидроэнергетический потенциал — на полтриллиона кВт·часов, используемый лишь отчасти. Озеро-курортные зоны. 16 % мировых запасов урана. Крупнейшее в мире месторождение серебра. Залежи алюминия. Залежи золота и драгоценных камней. Нефтегазовые месторождения. Уголь, полиметаллические руды. В этом отношении в СССР республика по природным запасам уступает лишь России и практически никому в регионе.

Не говоря о важнейших научных и оборонных объектах России.

И, кстати, одна из наиболее пророссийских и прорусских республик Средней Азии (да и всего Союза). Безусловно, то, что творилось в Таджикистане в первой половине 1990-х, как выдавливали и убивали русскоязычное население, те, кто это пережил, никогда не забудут: время мракобесия демоисламистского режима.

Демоисламисты — это как если собрать вместе Новодворскую, Альбац, Немцова плюс Басаева и Хоттаба и вручить им власть в стране. Гитлер на их фоне будет выглядеть чем-то вроде не то Ганди, не то великого гуманиста Века Просвещения, а Геббельс — своего рода Львом Толстым.

Но Таджикистан стал единственной республикой Союза, в которой народ, взяв в руки оружие и подняв, кстати, Красное Знамя, подавил и разгромил боевые отряды кровавого режима. В 1990-е гг. именно Таджикистан неоднократно ставил вопрос перед Россией о вхождении в ее состав на любых условиях. А таджикские пограничники вместе с российскими отбивали волны

афганских моджахедов и наркоторговцев, рвавшихся в Среднюю Азию.

Горы, забитые серебром, золотом и ураном, которые некому разрабатывать и добывать, — и нависающая над всей Азией зона контроля.

Нужно не депортировать из России таджикских мигрантов, чтобы они вновь потекли обратно с грузом наркотиков. Нужно создать в Таджикистане горнодобывающую и перерабатывающую промышленность, чтобы народ братской республики мог своим трудом обеспечивать себе уровень жизни, достойный их высокой культуры и их природных богатств, а добытый переработанный ими уран шел на боеголовки ракет реинтегрированного Союза, о намерении вступить в который Таджикистан уже заявил, и на его атомные электростанции, чтобы новые гидро- и атомные станции Таджикистана давали электроэнергию как Союзу, так и шли на экспорт соседним странам, чтобы добытый и переработанный алюминий из республики поступал на авиационные заводы объединенной страны для ее гражданских и боевых самолетов.

То есть нужно сделать, чтобы в Россию ехали не низкоквалифицированные рабочие, а лучшие ученики местных школ, направленные в российские университеты, а сам Таджикистан поставлял не рабочих мигрантов, а промышленную продукцию и воинов в спецподразделения, и был не заброшенным закоулком разделенной страны, а бастионом промышленного и военно-политического влияния России и Союза в центре Азиатского континента.

И на самом деле именно с этой точки зрения можно увидеть потенциал каждой из, казалось бы, бедных стран в их вкладе в то, что сегодня мы называем «Евразийской интеграцией», а точнее было бы назвать «постсоветской реинтеграцией».

Да, конечно, в ориентации на географический Восток можно увидеть свои риски. Вопрос зависит от того, в какую стратегию будет вписана эта интеграция. Здесь есть два вопроса. Первый:

во что именно будут вкладываться средства в ходе направления «восточной интеграции» И второй: какой в результате будет вектор интеграции России на востоке Азиатского континента.

В общем виде средства могут быть сложены в три сферы. Первая — разработка и добыча полезных ископаемых. То есть, опять-таки, сырьевое развитие этой части страны. Вторая — строительство коммуникаций и развитие инфраструктуры. Третья — развитие промышленного потенциала и его технологическая реконструкция.

Самое простое и быстроокупаемое — это первое направление, сырьевое. Выгодное для привлеченного иностранного бизнеса. Тактически выгодное для России — как дающее ей деньги. Но мало что дающее для действительного развития страны и ее «модернизации». Не меняющее ни сырьевой экономики страны, ни сырьевого характера самого развиваемого региона. Разумеется, это подтолкнет развитие транспортных артерий и инфраструктуры, но лишь в рамках решения общей сырьевой задачи. При этом они будут развиваться лишь в той степени, в которой инвесторам из Юго-Восточной Азии нужно будет обеспечивать транспортировку сырья в своем направлении.

Вторая сфера будет выгодна для России, поскольку она будет развивать ее азиатскую территорию, но для инвесторов спорна, поскольку само по себе это будет нужно лишь России, а инвесторам достанется возможная финансовая выгода от исполнения неких работ, но без неких дополнительных обстоятельств ничего не даст им ни геостратегически, ни в плане перспектив развития.

Третья сфера — вложение денег в развитие и технологическую модернизацию — самая нужная для России, но самая сомнительная для иностранных инвесторов. Во-первых, потому что это наиболее «долгие деньги», отдача и выгода от которых, с одной стороны, возможна лишь в относительно отдаленной перспективе, во-вторых, зависит от долговременной устойчивости политической ситуации в России и требует уверенности в серьезности вырабатываемой ею стратегии развития. А ситу-

ация в России начинает становиться не столь однозначной, учитывая реалии военно-политического противостояния страны с западной коалицией.

Кроме того, довольно явно можно наблюдать, что элита не выработала, а страна не имеет долговременной и убедительной стратегии развития.

В-третьих, конечно, технологическая реконструкция производства крайне нужна России, но именно в силу этого она явно невыгодна слишком многим экономическим и государственно-политическим субъектам, опасаящимся ее экономической и политической конкуренции. И именно поэтому возможность такого вложения средств выглядит наиболее маловероятной.

Точно так же возможны два варианта развития интеграции Сибири и Дальнего Востока. Один — по оси «Запад – Восток», при решении задачи укрепления связи европейской и азиатской частей России. Хотя, строго говоря, вообще кроме как чисто географически зауральскую часть России относить к Азии более чем сомнительно (разве что Бурят-Монголию). На деле, культурно и цивилизационно — это все же часть Европы, как и вся Россия в целом.

Другой — по оси «Север – Юг», причем именно в их восточном прочтении. Но такой вектор интеграции без более сильной привязки к центральной части России будет служить не развитию, модернизации и усилению последней, а ее возможному разрыву на части и ослаблению. Если Сибирь и Дальний Восток повседневно, экономически и транспортно-инфраструктурно будут связаны с Юго-Восточной Азией и ее субъектами, они и будут чувствовать себя частью этой системы и зависеть от нее при ослаблении своих связей с Центральной Россией. И при безумствах и некомпетентности, которые часто демонстрируют федеральный центр и российская власть, просто из чувства самосохранения постараются оградить себя от последних. С другой стороны, и юго-восточные, и южные по отношению к Сибири субъекты начнут чувствовать ее своей органической частью и стараться

закрепить за собой контроль за этой кладовой. Причем в этой ситуации и Сибирь с ДВ окажутся закреплены именно в роли кладовых и сырьевой базы.

То есть России нужно, абсолютно верно ставя задачу на развитие своей восточной части, не только найти способ привлечь капиталы на это развитие, потому что в иной конфигурации простое привлечение их может обернуться в лучшем случае практической продажей этого региона, а привлечь их в нужной и выгодной не только для себя, но и для них конфигурации.

То есть нужна стратегическая модель, работающая на перспективу развития России в целом, на решение задач обустройства Сибири, укрепляющая и гарантирующая единство страны, но делающая и финансово и стратегически выгодным вложения средств юго-восточных, да и западных инвесторов, и именно технологически развивающая Россию и промышленность Сибири и Дальнего Востока.

Но на самом деле все еще глубже.

Конечно, правы те, кто говорит, что существует дилемма: стоит ли удерживать территорию силой оружия с целью использования ее ресурсов, если можно просто купить эти ресурсы. Просто тем, кто говорит, что их проще купить, кажется, что им их всегда продадут. А продавать их никто не обязан. И он либо тот, кто его контролирует извне, может отказаться от возможной экономической выгоды ради того, чтобы лишить этой либо иной выгоды тебя. Если бы все определялось чисто рыночной логикой, западная коалиция вряд ли попыталась бы осуществить свою экономическую агрессию против России.

Хотя эта экономическая агрессия была на деле предельно невыгодна именно тем, кто их наложил. ЕС их наложил, потому что их вынудили США. США их наложили потому, что для них в данном случае первичен вопрос наказания за отказ следовать их нормам и правилам в современном мире.

Просто мир сложнее, чем кажется адептам рыночно-торгового фундаментализма. И тот, кто миру более необходим, может

оказаться не господином мира, а его рабом, которого заставят исполнять те функции, в которых он необходим. И заставят, лишив его собственной воли.

Логика «антиконтиненталистов» предполагает, что континенты вообще развивать и осваивать не нужно: нужно сосредоточить комфортную жизнь около портов и побережья, а в труднодоступных областях не развивать инфраструктуру, осваивая их ресурсы вахтовым методом.

По сути, это, в общем-то, своего рода колониально-торговое сознание: своя страна рассматривается как своя колония, из которой нужно вывозить ее запасы, обслуживая другие страны.

Если «евразийцы» придумывает свое «Средиземье», чтобы доказать, что Россия настолько особая, что на нее не распространяются законы общемирового развития, то «европеисты» придумывают свое «Земноморье», чтобы доказать, что Россия — лишь придаток мира, который должен жить исключительно по его нормам и правилам. При этом выдают за законы общемирового развития не сами эти научно выявленные законы, а именно нормы и правила тех, кто на сегодня играет доминирующую роль в нынешнем мировом устройстве.

И обе стороны абсолютизируют частные стороны действительности.

Евразийцы правы, указывая на особость России, но, с одной стороны, они не могут внятно сказать, в чем она заключается, уходя в полумистические, религиозные и поэтические рефлексии. А с другой — никак не могут понять, что отличие России от, скажем, Британии хотя и есть, но не больше отличия Норвегии от Испании либо Польши от Венгрии. Все основные этапы развития России точно такие же, и пройденные примерно в одни исторические периоды, что и для остальных передовых стран мира. Даже крестьян Россия сначала окончательно закрепостила, а потом освободила практически одновременно с развитием и отменой рабства в США. И создание национального государства, и сословного правления, и переход к абсо-

лютизму — все по срокам примерно совпало с тем, как это было в ведущих странах Европы. Россия такая же, как остальные. Со своими особенностями — не меньшими, чем у остальных.

Европеисты правы, говоря, что общество живет по общим социальным и экономическим законам, но считают, что Россия, подчиняясь этим законам, должна принимать ту роль и те правила, которые ей укажут более богатые и на бытовом уровне комфортно живущие страны, и должна принимать нынешнее положение вещей и подстраиваться под него, а не менять это положение под то, что ее более устраивает, опираясь на те же законы мирового развития. Но на законы, а не на волю и шаблоны поведения нынешних лидеров.

И еще одна не менее, а возможно и более важная вещь.

Вопрос территории — это даже не в первую очередь вопрос коммуникации, ресурсов и экономики. Вопрос территории — это в не меньшей степени вопрос историко-политической самоидентификации. С чем в истории и культуре ты себя ассоциируешь и идентифицируешь, если со страной, которой много больше тысячи лет, то ты идентифицируешь себя и со всей ее территорией. Если со страной, которой двадцать два года, — то с территорией, которую ей оставили после ее насильственного и противоестественного раздела в 1991 г.

3.3. Культура и Инферно

В самом общем плане культура — это все то, что создано человеком. И в этом смысле она неочениваема: все, что создано, — равноценно и равнозначимо. И должно быть ценимо и сохранено. На первый взгляд.

В свое время крупнейший советский фантаст и философ Иван Ефремов ввел понятия «инферно» и «прорыва из инферно». Строго говоря, само инферно — это сфера зла, преисподняя. В конструкте Ефремова — «сфера низменного», такое состояние

человеческого общества, когда над людьми властвует их «низменное», т. е. животное начало, подчиняющее себе их человеческую сущность.

Задачу культуры, как и содержание социального развития и суть исторического прогресса, он видел в том, чтобы сбросить «крышку инферно», прорваться из сферы низменно-животного в подлинно-человеческое.

Культура в большей степени способна провозглашать и утверждать идеал не через нотационную декларацию должного, но через эстетическое ощущение соотношений с идеальным, но так или иначе она эти латентные образцы, становящиеся реальными алгоритмами поведения, утверждает.

Сам человек, как и его творчество, есть некое отражение той реальности, которая существует вне его.

Все то, что человек создает в процессе своего творения «второй среды», он и создает, вкладывая в свою деятельность свои представления об идеальном и идеалах, свою оценку мира. Как в плане его достраивания для улучшения условий своего существования, так и в плане образов идеального, отражения своих реакций на меру их реализации в мире, рисует то, каким хотел бы видеть мир и свои отношения с ним. Свои оценки того, что должно быть и что не должно иметь место в мире, свое обращение к самому себе и свои пожелания самому себе. То есть реализует свою способность к идеальному альтернативному конструированию.

В этом отношении политическое и художественное всегда имеют срез плоскости своего единства как представления и пожелания создания лучшего, а культура выступает уже не только как совокупность созданного и сохраненного, она выступает в большей степени как процесс, процесс воздействия на человека в его реальном поведении.

С точки зрения задачи «преодоления Инферно», если мы говорим о процессе создания идеала в рамках альтернативного идеального противостояния действительности и утверждения

этого идеала уже в реальной деятельности человека, изменяющего мир и ощущающего себя как нечто большее, чем физиологическое существо, имеющего смыслы и ценности большие, чем его биологическое существование, мы должны признать, что культура в своей действительности есть среда и отношения, возникающие в процессе возвышения человека, прорыва его из подчиненности низменного, победы на предопределенности низменного и обретении ценности и способности к возвышению.

И в этом выборе между подчинением себя животному или подчинением себя человеческому все время играет роль та постоянная борьба человека с сидящей в нем обезьяной, о которой писал в последние годы жизни Борис Стругацкий.

Культурная среда обладает способностью изменения человека и формирования алгоритмов его поведения, но направленность этого изменения и этого формирования образцов поведения может быть разной: как расположенной на кривой восхождения, так и на кривой нисхождения, формирующей позитивно-деятельностные навыки созидания и утверждения образцов возвышенного, так и негативно-деятельностные навыки разрушения и утверждения образцов низменного.

Разница в итоге в том, что оказывается реализуемым приоритетным образцом: животное или собственно человеческое. Емко эта дилемма обозначена у Шекспира словами Гамлета: «Что значит человек, Когда его заветные желанья Еда да сон? Животное — и не боле».

Вопрос в том, что провозглашается приоритетом: потребление или созидание, низведение сущности человека к удовлетворению материального потребления (без которого человек, разумеется, существовать не может) или к удовлетворению потребности в созидании и преобразовании мира, без которого человек, казалось бы, существовать может, но перестает быть человеком и достаточно быстро опускается до уровня обезьяны, причем практически в буквальном смысле слова.

Но в более конкретно-политическом — во-первых, состоянии и роль «деятелей культуры и искусства» класса данного общества, их внутреннее ощущение того, кто они: трансляторы идеального или элитарного производителя коммерчески успешных зрелищ либо актер, формирующий установку человека в отношении к жизни. То ли в форматах «Жить прекрасно», «Жить трагично, но героично», «Жить трудно», что всегда делали классическое искусство и классическая культура и что так или иначе предполагает человека как субъекта, способного к возвышению себя и мира. То ли в форматах «Жить противно», что предполагает человека, детерминированного собственной низменностью и слабостью, что подчас гордо именуется «современным искусством».

Отсюда, наверное, главный вопрос культуры и искусства — это соотнесение данной сферы с проблемой «инферно». То есть способствуют они прорыву человеческой цивилизации из его плена или оставляют либо еще больше погружают в этот плен.

И, как представляется, любой конструкт культуры и любое произведение искусства так или иначе находятся на линии соотнесения с идеальным, т. е. все время позиционируют себя в оппозирующих эстетических категориях: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое. И как вывод: человеческое или животное.

И любой «деятель культуры» так или иначе отвечает в своих действиях и творчестве на неновый вопрос, что уже для него приоритетно: он в культуре или культура в нем.

Ровно так же, как и государство отвечает на вопрос, в чем оно видит свои задачи и стратегию в сфере культуры: либо как институт, обслуживающий интересы художественно-коммерческих производителей зрелищ и модных актеров, которые приглашаемы на элитные корпоративы, либо как субъект, осознающий свою задачу создания условий утверждения и развития культуры как сферы и процесса обеспечения возвышения человека, освобождения его из под власти инферно.

3.4. Перенос социального идеала в историческое прошлое

В ситуации, когда социальный субъект общества не может принять вызов этапного самоопределения в силу ограничений своим рожденным благополучием, инерционным деятельностным темпераментом, сам социум утрачивает цельность, дезориентированный наполняющей интеллектуальное пространство полемикой неясностей. Предлагается обсуждать то и выбирать из того, что ему неясно, непривычно и имеет одно достоинство — декларирует свою альтернативность тому, что есть.

Поскольку то, что есть, т. е. данность, признана исчерпанной в достигнутом состоянии, полемика неясностей накладывается на признание исчерпанности, но в силу своей преимущественно фантастической поэтичности парализует рациональное сознание, еще не ответившее на вопрос: исчерпан данный уровень имевшегося — и этом случае как можно достичь следующего, или исчерпана сама, прежде использовавшаяся конструкция.

Завершенная альтернативность в своем субъективировании должна была бы показать, к чему, к какому образу будущего она предлагает идти, образу, который должен быть не только выше образа настоящего, но и образа того прошлого, к которому апеллирует.

Для решения этой задачи необходимо, во-первых, не рассматривать черты прошлого как законченные и более-менее совершенные, и даже не рассматривать их как более или менее завершенное, требующее лишь относительно небольших изменений, просто избавленное от некоторых недостатков, вызванных отдельными политическими ошибками.

Таким образом, они должны иметь свой идеал в историческом будущем, будущем относительно не только нынешнего состояния, но и относительно того «будущего в прошлом», к которому они предлагают вернуться.

Однако если социальный идеал не предыдущее состояние общества, а нечто иное, к чему еще предстоит пойти после воз-

врата в точку начала попятного движения, то возникает вопрос, нет ли пути к нему, который можно совершить, минуя эту точку.

Если предположить, что путь, совершавшийся с 1917 по 1985 г., — это путь поступательного движения от точки А к точке Б, после которой произошел поворот и началось движение назад, то сегодняшнее состояние — точка В — вовсе не есть точка, расположенная на линии АБ, она находится в стороне от нее, поскольку изменение мира, развитие производительных сил и политического опыта в любом случае не позволяли совершить прямое попятное движение.

Предполагая, что истинная суть точки Б было не конечное состояние, достигнутое на пути из точки А, а некая иная точка, лежащая на линии А дальше Б, некая точка Д, надо признать, что линия, соединяющая В — нынешнее состояние общества, и данную точку Д, вовсе не проходит через прошлое состояние — Б.

Поэтому если носители альтернативности предлагают повести общество к точке Д, они не только должны нарисовать ее образ, они должны внятно объяснить, в чем состоит путь ВД. Либо они должны сказать, как можно этот путь пройти напрямую, на основе каких начал состояния В они предполагают совершить прорыв, наверстать отставание и выйти к Д. Либо они должны сказать, почему этого сделать нельзя, и прежде чем идти к Д, надо восстановить состояние Б, чтобы потом пойти к цели. Либо они должны показать, что собираются идти к состоянию Д через некую иную промежуточную точку Х или несколько таких точек.

Однако ничего этого они не делают и ограничиваются утверждением, что прошлое состояние было лучше нынешнего, поэтому нужно к нему вернуться и далее определять свой последующий путь. Но это означает, что, пытаясь предложить альтернативу, они лишь предлагают претензию на нее вместо самого альтернативного конструкта. Однако чем дальше, тем меньшим побудительным фактором для общества может выступать такая аргументация. Претендент на альтернативное конструирование предлагает уже демонтированную конструкцию прошлого как

его достигнутого состояния, но не может предложить наследование будущего, латентно содержащегося в этом прошлом.

Поскольку альтернативность не говорит, что будет после возврата прошлого состояния Б, ограничиваясь представлением его максимально привлекательного образа, они вообще абстрагируются от сути движения от состояния прошлого к достижению содержащегося в нем конструкции будущего, а стало быть, вызывают подозрение в собственной проективной несостоятельности.

В этом случае они, во-первых, сами поворачиваются спиной к состоянию будущего, содержащегося в прошлом, т. е. к идеальной конструкции альтернативы, предлагавшейся прошлым, теряют историческую перспективу, а во-вторых, невольно размещают свой идеал не только в хронологическом, но и в историческом прошлом.

Развернувшись лицом в конкретное хронологическое прошлое, которое противопоставляют хронологическому настоящему, они начинают превращать его в Прошлое с большой буквы, историческое прошлое как начало, самообращающееся в идеал.

За всеми великими революциями следовали эпохи контрреволюций, реставраций. Все реставрации заканчивались новыми революциями, выпрямлявшими ход исторического развития. Однако никогда эти новые дочерние революции не только не повторяли старые, материнские, но и восстанавливаемое ими состояние не воспроизводило предреставрационное состояние. «Славная революция» 1788 г. в Англии не была восстановлением Кромвелевского периода, а Июльская революция 1830 г. во Франции не восстанавливала наполеоновскую эпоху. Утверждение Третьей республики во Франции не возвратило состояние ни Первой, ни Второй республики.

Размещая свой идеал в историческом прошлом и противопоставляя его настоящему, которое условно можно определить как капиталистическое, претендент на альтернативность нынешнему состоянию противопоставляет не будущее, что делала пред-

шествовавшая ему классическая альтернативность, а прошлое. Их атака на неустраивающую реальность оказывается не только атакой из прошлого, но и атакой самого прошлого.

В предложенном противопоставлении субъекты этой ретроальтернативности невольно начинают искать в прошлом все, что противостоит существующей реальности как фазе развития. Между собой разные протоальтернативные течения различаются лишь тем, к какому конкретному историческому периоду они обращаются, лишь степенью последовательности обращения в прошлое.

Одни, пытаясь сохраниться в исповедуемой парадигме, противопоставляют сегодняшней реальности различные периоды прошлого им близкого прошедшего.

Другие, проходя путь апелляции к прошлому как таковому более последовательно, противопоставляют сегодняшнему состоянию, их тоже не устраивающему, то, что было до него как такового, все, что ему противостоит в его историческом прошлом, т. е. те или иные стороны предыдущего развития, им преодоленного.

В результате первые коммунисты противопоставляют постиндустриальному капитализму индустриальный социализм, т. е. противопоставляют индустриальную эпоху постиндустриальной.

Вторые постиндустриальному капитализму противопоставляют докапиталистическое состояние общества, те или иные черты предшествующих формаций противопоставляя в принципе капиталистическому обществу.

Следует отметить, как ни парадоксально, что гордящиеся своей верностью своей базовой альтернативности первые оказываются от собственной теории даже дальше, чем критикуемые ими за отход от классической ценностно-целевой модели вторые. Первые противопоставляют технологические и цивилизационные эпохи, на деле уходя от формационного подхода. Вторые все же противопоставляют формации, невольно оставаясь в рамках этого подхода.

Однако их обоих объединяет то, что они начинают смотреть на настоящее из прошлого, отвергая тезис об определяющей роли развития производительных сил, один из ведущих постулатов своей базовой альтернативной конструкции.

В результате оба эти течения на деле отказываются от своего базового постулата исторической роли классов, другого базового тезиса в том виде, в каком он формулируется их базовой марксистской альтернативностью.

Одни, отрицая постиндустриальный этап развития производства, когда труд все более становится связан не с фабрично-заводским, промышленным производством, а с производством и переработкой нового знания, информации и технологий, не признают работников этой сферы пролетариями, т. е. не признают роль интеллигенции как нового отряда наемного рабочего класса.

В результате в классическом марксистском определении роли пролетариата — как ничего не теряющего от уничтожения частной собственности, как наиболее организованного самим процессом производства, как связанного с наиболее передовыми видами производства, — у них выпадает как минимум третья характеристика. Однако в этом случае вместо отрицания капитализма с точки зрения создания нового, более передового строя, основанного на более передовых производительных силах, они получают отрицание капитализма с точки зрения наиболее страдающих от него социальных слоев.

В этом отношении они оказываются на позициях народников, отрицавших капитализм как строй, приносящий страдания старому крестьянству, отсюда они в лучшем случае оказываются политическим течением, претендующим на выражение интересов групп раннего капитализма интересам развития интересов более зрелого капитализма, неким подобием луддитов.

Их более традиционалистские представители, отрицая развитие существующего состояния как такового, отрицают роль его составляющих, включая весь пролетариат, который для них

оказывается лишь частью неоформленной социально трудящейся массы. Отсюда практически отрицание классовой борьбы вообще, протест против социального расслоения оказывается не призывом к его преодолению путем организации борьбы за новую организацию производства и классового соотношения, а призывом к отказу от разделения на богатых и бедной социально нерасчлененной массы, попыткой препятствовать развитию субъектов классовой альтернативности. Отказываясь от борьбы, призывая к «поддержке отечественного производителя» против финансовой олигархии, они в лучшем случае уходят на позиции Сен-Симона, противопоставлявшего «работников» (рабочих и промышленных капиталистов) «паразитам» (банкирам и финансистам). В целом же они вообще оказываются на позициях отрицания классовой борьбы, растворяя рабочих в общей массе страдающих от прихода «Новых времен».

В результате и одни и другие претенденты на альтернативность лишаются поддержки родственных социальных субъектов.

Первые, с одной стороны, отталкивают интеллигенцию, перенося на нее скептическое отношение как к ненадежной «прослойке», с другой — сами вызывают скепсис традиционного рабочего класса, чувствующего в них отрыв от простой производственной реальности.

Вторые, с одной стороны, вызывают отчуждение традиционного рабочего класса, не ощущающего социального родства с ней, а с другой — вызывают скепсис интеллигенции, не чувствующей в ней права на интеллектуальное лидерство.

Перемещая свой идеал в докапиталистическое прошлое, современная субъективированная протоальтернативность образ позднесоветского периода, к которому она апеллирует, начинает насыщать досоветским содержанием.

«Сильное государство», которое в прошлой реальности было результатом развития конкретных классовых, социально-экономических процессов, наполняясь докапиталистическим содержанием, обращается Великой Империей со строгой иерархи-

ей, устоявшимися порядками и традициями, чутко охраняющей свою самобытность от остального порочного мира.

«Социальная стабильность», в прошлой реальности основывающаяся на собственности, юридически принадлежащей всему народу, мощной промышленности, цели которой ориентировались на обеспечение материального благосостояния общества и обеспечение экономического и социального развития, обращается нерасчлененным феодальным единством общества, в котором каждый подданный — лишь служитель империи, целью своей жизни имеющий заботу о ее укреплении, а просвещенная и внимательная власть чутко следит за их добродетельным поведением, «Соборным единством» сословий.

«Морально-политическое единство народа», которое в той реальности базировалось на общности социальных интересов и как минимум декларированных торжестве гуманизма, справедливости и очевидной победе самой прогрессивной идеологии, обращается чем-то вроде богобоязненности, верности вековым традициям, охранением самобытности, невосприимчивостью к чуждым культурам и верованиям, царством обычая, неподвластного искусам иноземцев.

В результате вместо «общества развитого социализма» с общенародным государством, руководящей ролью «партии победившего пролетариата», общественной собственностью на средства производства, сглаживанием различий между умственным и физическим трудом, городом и деревней, возрастающей социальной однородностью и взаимообогащением множества национальных культур, уверенно идущего по пути социального прогресса, перед нами предстает «Единство Власти, Веры и Народа», «Единство Народа, Государства и Отечества», единственное прибежище Истинной Веры, застывшее в своих устоявшихся формах.

Можно, в зависимости от идеологических предпочтений, по-разному относиться к этим образам, принимать или не принимать каждый из них, но в любом случае ясно, что это совсем

разные явления, принадлежащие не только разным историческим эпохам, но и находящиеся в разных отношениях с историческим развитием.

Вполне естественно, что коммунистическая альтернативность мало подходила для роли выразительницы интересов этого образа. Дело даже не в том, что она предполагает классовую борьбу, тогда как этот образ предполагает ее отсутствие. Они расходятся между собой в стержневых установках. Для той альтернативности в центре стоит развитие и возвышение человека и общества. Предлагаемый нынешней протоальтернативностью образ предполагает статику, завершенность, отсутствие развития как имманентной характеристики.

Вместо нее роль ценностно-целевого носителя предлагаемого образа брал на себя объявляемый идеологией патриотизм. Однако он, в принципе, мало приспособлен для выполнения ценностно-целевых мотивационных функций.

Патриотизм, по сути, не является идеологией. Последняя по определению должна выполнять функции познания, ориентации и оправдания действия. Она рисует некий идеал устройства, объясняя мир как несовершенный и предлагая его преобразование. При этом она всегда рисует этот образ в интересах тех или иных социально-классовых групп. Таким образом, она претендует на признание мира несовершенным и принимает вызов, согласившись на построение нового мира. Единственная идеология, минимально ориентированная на социальное преобразование, — консерватизм. Однако даже в своем раннем, бьерковском варианте он не отрицает развитие, а предлагает его минимизацию.

Патриотизм лишен функций идеологии, поскольку базируется не на рациональном, а на эмоциональном начале. Он является чувством любви к своей стране, чувством вполне исторически обоснованным и устоявшимся. Однако как чувство, он не дает ответ на вопрос, что именно подлежит любви и защите. Любовь к стране, понятная как чувство, сама по себе

не выполняет познавательную функцию, она может ее лишь стимулировать.

Страна в этом чувстве предстает как единое и самодостаточное начало, ее культура, традиции и обычаи. В этом смысле патриотизм предполагает защиту того, что есть, и оказывается оборонительно конструктивен, частично родственен антиэнтропийному консерватизму. Однако если консерватизм все же предлагает ответ на вопрос, что именно надо улучшить, пусть и проявляя в этом осторожность, он всегда, защищая в основных чертах статус-кво, отражает интересы тех групп и слоев, которые это статус-кво устраивает, т. е. предполагает наличие того начала, интересы которого предстают как общие, и того, интересы кого предстают как частные.

Патриотизм, как всякая любовь, предполагает, что любят не за что-то, а по факту существования. Поэтому он предполагает, что свою страну надо любить по факту того, что это твоя страна, государство потому, что это твое государство. Однако образ страны разных эпох — это разные образы. Патриотизм встает перед выбором: либо надо любить все, что объединяет все эти образы, либо выбрать, какой образ признается достойным любви, а какой нет.

Выдвинув доктрину патриотизма, не наполненного проектным содержанием, представители протоальтернативности защитили и реабилитировали это чувство, но чувство слепо по определению, и они замостили, подготовили почву для того, что можно определить как абстрактно-символический беспроектный патриотизм, сделали общество готовым принять идею укрепления государства, но забыли объяснить, кому должно служить это государство.

В первом случае патриотизм утрачивает какое-либо политическое и целеполагающее начало, не может выполнять функцию ориентации. Если в стране борются разные силы, воодушевляющие себя разными идеологическими образами, патриотизм оказывается вне этой борьбы. Если политический субъект при-

знает, что ему все равно, о какой конкретно России идет речь, он не может участвовать в борьбе сторонников разных видений России, потому что ему все равно, какой она будет. В этом случае любовь страны оборачивается безразличием к ее конкретной судьбе, лишь осложняет выбор людей, которые, в конечном счете, ведут борьбу именно за свою страну, за то ее будущее, которое они считают лучшим исходя из идеологических предпочтений. Даже если патриотизм ориентирует социальный субъект на защиту такой, казалось бы, очевидной истины, как сильная страна, он либо не может сказать, в чем видит ее силу, либо должен уйти от ответа на вопрос, кто будет хозяином в этой сильной стране. Так же и принятие такой ценности, как Сильное Государство, оставляет без ответа вопрос, каким будет это государство и инструментом в чьих руках оно будет.

Во втором случае патриотизм должен сказать, любовью к какому образу своей Родины он является. Это значит, он должен принять альтернативные установки одной из сторон, признать один из образов будущего для страны благом, а другой — злом. В этом случае он должен признать верховенство одной из альтернативностей не только над противостоящей ей, но и над самим собой. Следует признать, что патриотизм не может быть любовью к стране вообще, он может быть любовью лишь к некому образу этой страны, т. е. он обретает смысл только в рамках некой актуализированной альтернативы.

Отсюда следует сделать вывод, что патриотизм в принципе не может выполнять роль идеологии, особенно роль конструирующей альтернативности. Оппонируя существующей реальности, альтернативность всегда негласно принимает, что политический образ, которому служит существующая система доминирования и ее целеполагание, не признается ею оптимальным, т. е. она претендует на изменение того образа жизни, который налично утвержден в стране, этот образ она не любит и стремится разрушить. Разрушая этот образ жизни, она разрушает некое состояние страны, т. е. в некоем смысле разрушает одну страну и создает другую.

В той же степени, в какой патриотизм становится конструкцией альтернативности, он обрекает ее на интеллектуальное бессилие, поскольку она может предложить обществу лишь самые общие, не подвергаемые сомнению образы, с которыми окажутся согласны все, т. е. перестанет быть альтернативностью как таковой, а потому не сможет получить социальной поддержки, так как не сможет объяснить, что, собственно, она предлагает, в отличие от других. В тех случаях, когда ей удастся увлечь за собой общество самым эмоциональным пафосом абстрактного патриотизма, она обрекает себя на то, что любая иная политическая сила, объявив себя носителем патриотизма и представив его черты более выпукло, без труда увлечет за собой тех, кого альтернативность считала своей опорой.

Выше было показано, что, стремясь выразить социальный протест через апелляцию к образу прошлого, протоальтернативность меняла ориентиры, выдвигала установки, характерные для противостоящей ценностно-целевой мотивации. Вслед за этим можно было увидеть, что, попадая в плен к прошлому, она помещала в него свой идеал, превращая в идеал само историческое прошлое, а в результате превращала отрицание капитализма, которое ее предшественники вели с позиций будущего, в отрицание его с позиций прошлого, т. е. сама переходила на докапиталистические позиции, отрицая его не с позиции преодоления, а с позиций изначального неприятия.

Это оборачивается тем, что если классическая альтернативность подобной доктрины брала свои силы в развитии капитализма, в силах, которые он порождает и с каждым его успехом становится сильнее, то силы, не приемлющие капитализм, изначально могут опираться только на то, что еще не охвачено капиталистическим развитием, а потому с каждым успехом капитализма становятся слабее, теряя под собой социальную почву. Одновременно такие силы вынуждены призывать в союзники все то, что является более реакционным, чем капитализм, включая их в свой образ и приобретая их черты.

Это выразилось в смещении координат диспозиции современной альтернативности в идеологическом пространстве.

Классический коммунизм как радикально левая идеология всегда выступал как противник милитаризма, национализма, религии и церкви, расизма и авторитарной диктатуры. Он всегда выступал как интернационализм, сторонник демократии, либертаризм, эгалитаризм и атеизм. Поэтому его требование уничтожения частной собственности несло в себе смысл не уничтожения обладания собственностью, а уничтожения отсутствия собственности, превращения ее в доступную для всех.

Развернувшись в прошлое, современная протоальтернативность в повседневности по всем этим позициям стала занимать прямо противоположную позицию. Патриотические лозунги стали балансировать на грани открытого национализма, выдаваемого за патриотизм.

Однако в этом случае следует признать, что оппозиция в результате помещения своего идеала в прошлое начинает выступать в принципе противником исторического прогресса.

Ее переориентация на защиту традиции, сильного государства, социально нерасчлененного общества, союз с церковью, имеющие место элементы национализма, эксцессы антисемитизма, действительно дают основание говорить о появлении такой тенденции.

Однако важно и другое. Формулируя докапиталистический идеал, сходя в союз с силами, ставящими традицию выше прогресса, на почве борьбы с буржуазным прогрессом, оппозиция практически отказывается от роли носителя альтернативного буржуазному варианту прогресса. Тем самым она оставляет за либерализмом роль единственной прогрессистской идеологии, а капитализм — единственным вариантом прогресса. Тогда она должна выбирать: либо она за прогресс, но не имеет своего видения последнего и обречена принимать его в буржуазном варианте, либо она против капитализма и против прогресса как такового, объявляя его злом по определению.

В итоге можно говорить о том, что перенос идеала в прошлое обрекает ее на интеллектуальную несостоятельность, лишает ценностных стержней и постулатов собственной идеологии и загоняет в исторический, политический и проектный тупик, лишая в конечном счете политической и исторической перспективы.

3.5. Рождаемость и цивилизованность

В человеческой истории мы имеем в самом общем виде два периода формирования отношений по поводу деторождения. Первый — это период, когда не существовало массовых средств ограничения рождаемости. Второй период — примерно со второй половины XX в., когда средства ограничения рождаемости в семье стали доступны и просты.

В течение первого высокая рождаемость ограничивалась либо индивидуальной степенью репродуктивной способности конкретных людей, либо обострявшейся борьбой за ресурсы и средства поддержания существования.

Как естественный, действовал вектор на увеличение населения тех или иных стран. Когда населения в силу тех или иных причин становилось больше, чем могли обеспечить ресурсы этих стран, начинались походы, войны за завоевание иных ресурсов, внутренние столкновения по тому же поводу — и, с одной стороны, ресурсы добывались либо перераспределялись, либо население в результате войн сокращалось.

В целом ситуацию определяли три обстоятельства. Первое — сама репродуктивная способность человека. Второе, работавшее как мотив на ограничение, — ограниченность средств обеспечения физического существования. Третье, работавшее как мотив на увеличение численности: необходимость, с одной стороны, производить и воспроизводить рабочую силу, с другой — необходимость защищать свои ресурсы и захватывать чужие, т. е. воспроизводить уже не только работников, но

и воинов. Причем в развитии, соответственно, рождалась и вполне привлекательная мысль в первую очередь производить именно воинов, которые смогли бы не только защитить свои ресурсы и предъявить претензию на чужие, но и привести с войны работников. Это смогло стать выгодным и возможным тогда, когда появился относительный избыток: до этого пленных просто съедали, кормить их было нечем, отпускать опасно.

Баланс ограничений рождаемости складывался в пользу ее увеличения. Сначала действовал принцип: больше населения (больше семья) — больше едоков — больше нехватка ресурсов. Потом: больше семья — больше работников. На следующем этапе: больше семья — больше воинов — больше ресурсов. Причем мотивация на сохранение большой семьи складывалась из необходимости решить три задачи: обеспечить производство воинов; обеспечить производство тех, кто будет работать, когда они будут воевать; обеспечить производство воинов в таком числе, чтобы их оставалось достаточно с учетом гибели многих из них на войне. То есть столько, чтобы не жалко было их отправлять, а семье — отдавать на войну.

Так складывались отношения, мотивы и тип семьи в традиционном аграрном обществе, хотя здесь тоже можно выделить ряд своих этапов.

Причем здесь действовали еще два важных момента: в силу общей невысокой обеспеченности ресурсами общий уровень жизни и общий уровень потребностей был относительно невысок, а с другой стороны — эта модель была относительно общей и для общества в целом, и для отдельной семьи при прочих равных. Хотя сохранялись и определенные ограничивающие обстоятельства.

С переходом к Модерну, т. е. к индустриальному обществу, с одной стороны, возрастает и развивается производство — и прокормить себя оказывается возможным и вне «большой производственной семьи», работая по найму на заводе или, позже, в конторе и офисе. С другой — повышаются требова-

ния к комфортности и уровню жизни, а потом и к его качеству. И зарабатываемых благ оказывается не вполне достаточно для того, чтобы прокормить большое число детей и обеспечить их быт уже на том уровне, который предпочитаешь сам.

Притом если старая деревенская семья была относительно не стеснена в пространстве — расширить дом или построить второй было относительно доступно, то новая, городская, могла иметь такую возможность лишь при высоких уровнях дохода, доступных для меньшинства. Просто сказывалась ограниченность городского пространства.

Отсюда на сегодня: чем более высоко развиты страны, тем меньшую они имеют численность семьи и рождаемость. Массовое развитие контрацептивтики можно считать причиной снижения рождаемости, но более верно было бы говорить о том, что само оно возникло в связи с массовым запросом на них, т. е. массовым бытовым запросом на минимизацию семьи.

Но налицо оказалось и известное противоречие: отдельный человек и отдельная семья заинтересованы в малой деторождаемости ради обеспечения высокого комфорта и уровня потребления. Но социум, страна, достигшая высокого уровня богатств и потребностей, по-прежнему заинтересована в том, в чем ранее они были с семьей едины: в увеличении числа работников и тех же воинов, хотя на сегодня и потенциальных.

Высокая численность населения в богатых странах сегодня обманчива. Она складывается из трех факторов. Первый — снижающейся за счет достижений медицины смертности, т. е. снижающегося удельного веса работников и потенциальных воинов.

Второй — повышение численности мигрантов, выполняющих наименее квалифицированные и престижные виды работ, что оборачивается размыванием национальной идентичности и нарастающими конфликтами мультикультурных обществ, в свою очередь через некоторое время чреватое новыми, казалось бы, ранее изжитыми конфликтами по поводу перераспреде-

ления средств жизнеобеспечения. И, кстати, перераспределения и средств обитания и видов занятости.

Третий — дефицит воинов. Не проходящих кукольную военную службу в невоюющих армиях с интернет-играми по вечерам и уходом на выходные домой, а реальных, готовых воевать и идти за интересы своей страны на смерть. Причем к их общему дефициту добавляется и то, что если в семье с десятком детей гибель одного или двух воспринималась хотя и как горе, но и повод для гордости и внутреннего определенного удовлетворения, то в семье с одним или двумя детьми мать скорее сделает все, чтобы уберечь их от похода на настоящую войну и их не лишиться. А десяток доставленных с войны гробов погружает общество в транс и выводит на улицы массы требующих прекратить войну любой ценой. Поскольку же войны вытекают вовсе не из амбиций политиков, а из необходимости защищать свои ресурсы и приобретать чужие, то удовлетворять потребность в воинах в богатых странах через некоторое время вполне могут начать мигранты-контрактники. Как, собственно, было в период упадка Рима: завоеванные иноземцы-рабы обеспечивали Рим работой. Нанятые иноземцы-воины защищали его от врага. Сами римляне вырождались.

Мигранты на стройках, мигранты на заводах, мигранты в лабораториях, мигранты в армии — перспектива современного частично постиндустриального общества, пошедшего по пути общества потребления.

Главное же в том, что сам по себе рост богатства, казалось бы, дающий средства прокормить большое число детей, лишь повышает возможности потребления и комфортности жизни их потенциальных родителей. Каким бы богатым ни стало это общество, постольку-поскольку главное для его граждан — комфорт и потребление, они всегда как мотив превысят мотивы к деторождению. И лишний ребенок станет лишним едоком. И не нужен будет семье даже ни как лишний работник, ни как лишний воин.

Заложены порочный круг, ведущий к постиндустриальным обществам потребления к вырождению и утрате культурной и цивилизационной самоидентификации.

В обществе этого типа, каким шаг за шагом становится и Россия, все гуманистические разговоры о самоценности человеческой жизни оказываются лишь утверждением самоценности потребителя и его ценностей.

Чтобы изменить ситуацию и сменить тренд вырождения, нужна смена мотивов. Нужно, конечно, материальное и социальное обеспечение многодетным и социальное и материальное стимулирование рождаемости. Но опыт тех же западных стран уже давно доказал, что сами по себе эти меры лишь превращают многодетность в способ люмпенизированного заработка, постоянной жизни на пособия.

Материальная и социальная помощь и стимулирование деторождения необходимы. Но как помощь, а не как основа этого процесса. И тут тоже есть большой вопрос, кому именно помогать, и о нем можно говорить отдельно.

Главное — в изменении самих стимулов. То есть не в том, чтобы объявить о главенстве иных стимулов, а в изменении самих ценностных основ общества.

То есть социальное осуществление двух замен. Первая — это переход от общества потребления, где главное богатство — то, что ты можешь потратить, к обществу созидания, где главное богатство — это то, что ты можешь создать, какой отпечаток ты можешь наложить на окружающий мир.

И вторая — это переход от общества потребления к обществу познания, от общества, где главная ценность — то же потребление, к обществу, где главная ценность — познание.

И в таком случае дети из потенциального убытка превращаются в ценность и богатство именно на этом уровне. Из лишнего едока — в дополнительное продолжение твоей творческой способности не в детородном плане, а в плане создания того, кто сделает то, что не успел ты. И из неизбежной статьи расхода —

в субъекта накопления, воспроизводства ценности — знания и его расширенного воспроизводства.

Ребенок здесь выступает не как объект опеки и расхода, а как иная воспроизводящая тебя и отличная от тебя личность, усвоенные им знание и опыт. Воспроизведенная и развитая твоя личность, ты в инобытие. И увеличение числа детей в этом случае — это увеличение для тебя твоих воспроизведенных воплощений. А для общества — увеличение числа носителей расширенно воспроизводимой информации и ее объема, носителей личности. Как и числа уже не работников, а творцов, способных к созиданию, социальной экспансии данного типа ценностей и их защите.

Но нужно понимать, что создание такого социально-цивилизационного типа невозможно в рыночных условиях. Необходимо их устранение и утверждение, можно так сказать, проектного типа организации производства.

А следовательно, преодоление сопротивления тех социальных групп, которые заинтересованы в сохранении рыночного типа регулирования экономики.

Глава 4

Плацдармы наследуемого

Наследование будущего, т. е. наследование альтернативного целеполагания идеальных конструктов, кто бы его ни проводил и ни осуществлял, всегда есть некоторое смешение трех начал: стремления существующей реальности легитимизировать себя (или альтернативности — себя) историей, стремления общественного сознания узнать правду, стремления тех или иных субъективированных альтернативностей свести исторические счета и избавиться от тех или иных комплексов. Например, европейская политика памяти, в частности по истории Второй мировой войны, направлена, с одной стороны, на легитимизацию своего положения победителей, на предотвращение повторения подобного, но, возможно в большей степени, на заглушение своего стыда и чувства неполноценности в связи с позорным поражением в начале войны и тем, что своим конечным пребыванием в числе победителей они обязаны не столько себе, сколько СССР — совсем иной реализованной альтернативности, во многом ими не понимаемой и не принимаемой.

Требую от немцев постоянного покаяния за вину в создании монстра фашизма, они лишь отчасти решают естественный вопрос исторической ответственности. Сам по себе он вполне правомерен: народ должен отвечать за минуту слабости, когда позволяет первому попавшемуся авантюристу свершить над собой насилие. Однако те, кто причисляет себя к победителям, еще и стремятся унижением немцев отомстить им за свое унижение 1940 г. и позор сотрудничества своих элит с фашистами. Одновременно их стремление, проявляющееся время от времени, приравнять к фашизму коммунизм — это попытка избавиться от комплексов, от унижения своего освобождения иной альтернативной силой. Иные спасенные никого подчас не ненавидят столь сильно, как своих спасителей.

И уже в силу своей политической заданности те или иные приоритеты наследования имеют тенденцию к подавлению стремления к выяснению правды: за исключением ситуации, когда так или иначе сама реально ее отражает. При этом, с одной стороны, всегда есть момент необходимости существования неких «табу»: отсутствие последнего — всегда признак дикости. С другой стороны, всегда существует опасность того, что та или иная затвержденная оценка помешает объективному историческому исследованию: здесь, как и не только в сфере наследования и исторической науки, сталкивается вопрос о необходимости неограниченного научного поиска и вопрос о гражданской ответственности ученого.

Но вместе с тем естественно и то, что государство, приняв в своих политических целях ту или иную историческую позицию, если и не запрещает те или иные исследования, противоречащие ей, то, во всяком случае, не содействует таковым.

Победитель всегда требует от побежденного покаяния. Слабый и подавленный — кается. Сохранивший волю и силу отвергает это требование.

Если к тебе приходит некто, как в пресловутом фильме «Покаяние», и утверждает, что любимый тобой человек — мерзавец, то больной и слабый человек кается или стреляется, здоровый отвечает на обвинение демонстративно акцентируемым прямым действием отторжения. И правильно делает, потому что его отношение к его близкому — его ценностная латентность. И никто не вправе диктовать ему ту или иную оценку.

Но есть и другая сторона вопроса. Как только другая сторона перестает заниматься активным историческим поиском, активным изучением истории, того, что было на самом деле, она тут же обезоруживает себя перед лицом возможной агрессии на состояние своей идеальной проектности и норму своего наследования. Субъект, знакомый с исторической фактурой, всегда видит искажения исторической правды в атаках на объекты и конструкции его наследования, всегда видит фальсификацию.

Человек, основывающий свои оценки на стихийном принятии интуитивного, оказывается деструктурирован в своем ценностно-целеполагании.

Еще раз: «табу» на эту тему было бы полезно для общества (если говорить о публичных дискуссиях, а не исторических исследованиях), но оно вряд ли возможно, поскольку речь идет о политических и идеологических интересах, и отчасти вредно, поскольку делает общество уязвимым, лишает его иммунитета перед исторической дезинформацией.

Но такая деформация всегда оказывается деформацией, с одной стороны, наследования латентностей и целеполагания (целедостижения), с другой — разрушив их, деструктурирует механизмы интеграции и адаптации, разрушая и идентификацию, и сами механизмы ее функционирования.

Разрушаются плацдармы, создаваемые наследованием прошлого для конструирования альтернативного будущего, а соответственно, те плацдармы, которые уже могут стать точками роста новых состояний и типов политических и социальных конструкций.

Возможность наследования будущего определяется субъектными возможностями ретранслятора наследования, но она также зависит от меры наличия либо отсутствия в настоящем плацдармов, точек роста ретранслируемой альтернативности. Иначе наследуемый образ должен обладать альтернативной настоящему конструктивностью, но эта конструктивность должна при всей альтернативности иметь реалистичную представленность в настоящем. Иначе говоря, как субъект альтернативности должен иметь личностную воплощенность, обращенную к стихийной альтернативности, да и к обществу в целом, так и сама альтернативность должна иметь вещественно-объектную воплощенность в реальности, те форпосты, к реальности которых может оперировать субъект альтернативного наследования. Подобная воплощенность должна обладать как минимум: 1) наличием ценностно-значимого плацдарма альтернативности, каким в со-

ветской и постсоветской реальности были достигнутые рубежи создания атомного и космического проектов; 2) представленностью выбора между возможностями и опасностями прорывных векторов при сохранении или утрате человечности, т. е. способностью социума ответить на тест о значимости для него принципа человечностного восхождения, каким в частности является проблема искусственного интеллекта и его использования; 3) ощущением границы цивилизационного развития, когда перед социумом встает выбор — перейти к типу развития, обеспечивающему возможность сохранения цивилизации, или не решиться на такой переход при его возможной дискомфортности; 4) повседневными зонами технологического возвышения, представляющими зоны альтернативной организации общественной жизни, сохраняющими преемственность прошлого и его будущего, настоящего и наследуемого альтернативного будущего.

4.1. Космический прорыв как плацдарм альтернативности

Строго говоря, 12 апреля 1961 г. наследовало 9 Мая 1945 г. В сорок пятом году СССР спас мир от порабощения режимом и системой, являвшимися проявлениями чуть ли не онтологического зла. Зла как субстанции. Через 16 лет, в шестьдесят первом, страна показала миру путь возможного дальнейшего развития — освоение космоса.

В этом событии присутствовало много моментов, которые не всегда осознаются. Первый из них — ощущение человечества некой единой общностью. Не в плане пресловутых и бессмысленных «общечеловеческих ценностей», а в плане общего соприкосновения с чем-то иным, с одной стороны, являющимся «Не-Землей», а с другой — оказывающимся доступным и достигаемым земной цивилизацией. Восторг мира от полета Гагарина и его бурные встречи всюду, куда он приезжал, означали рождение но-

вой общности — Земляне. И рождена эта общность была именно Советским Союзом, его прорывом, подвигом его граждан.

Второй момент — этот путь, открываемый страной, был не только путем выхода человечества в новую сферу открытий, это был путь выхода на новый цивилизационный уровень, перехода в «общество познания» — альтернативного привычному «обществу потребления». Что этот вариант развития существует, что познавать и делать открытия может быть интереснее и важнее, чем наслаждаться растущим потреблением, было понятно и раньше. Но далеко не всем.

После полета Гагарина это стало ясно человечеству как таковому. Эта идея вырвалась из круга явного меньшинства — и оказалась воспринята уже широкими массами на всей планете.

Путь был указан, но по этому пути в целом человечество так и не пошло. Миг ощущения себя целостностью не стал состоянием единой целостности. Возможность пойти по пути «общества познания» не обернулась реальным переходом к этому обществу. А перед этим спасший мир и теперь открывший и указавший этот путь СССР в известном смысле разделил участь Прометея.

Ненависть, которую СССР вызывал и вызывает у определенных политико-психологических групп, была, в частности, с тем, что он показал возможность и перспективу пути «цивилизации познания». И одно из направлений атаки, результатом которой и стала геополитическая катастрофа раздела СССР, была атака против самой идеи освоения и исследования космоса. Тогда, в конце 1980-х и 1990-х, когда по стране катились валы разрушения, спровоцированные «политикой перестройки», один за другим ее «прорабы» с трибун съездов и страниц газет обличали космические программы как бессмысленную трату денег, имеющую своим содержанием лишь удовлетворение «державных амбиций». Они требовали тогда одного — «власти и колбасы». Их лозунгом и смыслом требований было одно — «общество потребления». Правда, как оказалось в ходе реализации последних, потребления не для всех, а в первую очередь для них.

И ценой удовлетворения уже не державных, а их частных амбиций стал и «Буран», и орбитальная станция «Мир», и сворачивание космических программ страны. Как недавно выяснилось, в итоге Россия еще не восстановила долгосрочные программы освоения дальнего космоса. Хотя развитие космических исследований и технологий уже давно было провозглашено одним из пяти приоритетов модернизации страны.

Как показывали опросы, резкий рост гордости за первенство страны в освоении космоса — с 41 % в 2017 г. до 50 % в декабре 2018. Правда, в 1999 г. было и вообще 60 %, но тогда на орбите была еще советская станция «Мир», которую вскоре догадалось утопить российское руководство, причем основным мотивом был ультиматум США — либо утопите свою, либо не будем вместе создавать международную. Теперь своей собственной космической станции нет, а МКС по ряду параметров, как оказалось, технологически и по комфорту уступает тому же «Миру», зато выяснилось, что летать на МКС можно только на российских «Союзах», спроектированных еще в СССР.

Общество подспудно ощущает связь этих двух дат. Но отвечая на вопрос о том, какие направления научных исследований нужно развивать в России прежде всего, лишь 10 % говорят о первоочередной значимости космоса, а 72 % называют первоочередными те, целью которых является развитие экономики.

Здесь показательны следующие моменты. Первое — главным люди считают развитие экономики. Это, с одной стороны, понятно, учитывая то состояние, в котором она находится, и оно же является оценкой степени квалифицированности и эффективности современных именитых экономистов. С другой — это отражение как неготовности признать познание приоритетным по отношению к потреблению (при всей естественной важности последнего), так и непонимания, в частности, экономического значения освоения космоса.

Второе — собственно, все направления исследований, оказавшиеся в промежутке между развитием экономики и мирным

использованием космоса, своим важным компонентом имеют развитие космоса — он нужен и для обороноспособности, и для развития здравоохранения, и для развития образования, экологии и т. д.

Но вместе с тем это отражает и ситуацию примитивизации познания — оно воспринимается как нужное «для чего-то». Хотя когда Фарадей впервые демонстрировал свои электрические эффекты и ему был задан вопрос, как это может быть использовано в дальнейшем, он, смутившись, предположил, что, возможно, со временем это позволит делать «забавные электрические игрушки».

В том, в частности, разница между «обществом потребления» и «обществом познания», что в первом наука преимущественно ценится как инструмент расширения потребления, и все, что с этим не связано, оказывается отодвинуто от эпицентра поддержки и интереса власти и общества. Здесь наука плетется во многом в хвосте потребления. А в «обществе познания» наука самоценна, она первична. И ее опережающее развитие, требуя на первом этапе определенного самоограничения потребления, после его выхода на определенную стадию само уже снимает проблемы недостатка потребления. Но даже важнее и другое — в этом обществе человек в принципе получает от познания и открытий больше наслаждения, чем от возможности попробовать дополнительный десяток сортов колбасы. Хотя для носителей идеологии рыночного фундаментализма и «ведущих российских экономистов» колбаса куда важнее космических кораблей.

Тем не менее для большинства российского общества космос еще интересен. 13 % он очень интересует, 47 % интересен в средней мере, и 37 % совсем не интересен. Это перекликается с другими цифрами.

Потому что полет Гагарина был не только научно-технической победой СССР в военном соревновании с США. И не просто научно-технической победой вообще. Это был новый взятый рубеж именно Восхождения. Восхождения человека в освоении мира. В неуклонном «движении вверх».

7 ноября отрыло дорогу победе над угрозой новой олигархии и нового Средневековья. 9 Мая открыло дорогу Восхождения к новым мирам.

Почему этот мир не утвердился и не состоялся — вопрос большой и отдельный. Во всяком случае его упадок начался именно тогда, когда высшее руководство страны на рубеже 1970-х отказалось от программ освоения Солнечной системы. И достиг критического рубежа, когда было объявлено, что колбаса и туалетная бумага важнее, чем космос и межпланетные перелеты. И когда лидеры страны обменяли космолет «Буран» на кооперативы и частные предприятия.

Хотя дети, рожденные даже еще в 1987 г., до середины 1990-х верили, что страна уже запускает корабли на Венеру.

Но плацдарм будущего был заложен, а заложен как наследие альтернативности Нового мира.

4.2. Искусственный интеллект: плацдарм будущего или отказ от человечности

Соотнесение в ключе антиномии понятия человеческого капитала и искусственного интеллекта в какой-то степени некорректно, но в какой-то степени выступает наследованием еще античной традиции взаимной альтернативности рационального и трансцендентного как человеческого и надчеловеческого, выступавшей еще в противостоянии линий философии Чжоу и конфуцианства в Китае, буддизма и брахманизма в Индии, Аристотеля и Платона в Элладе.

Вопрос только в том, что именно оказывается противопоставлением чего: с одной стороны, рационализм как будто бы проявляется в искусственном интеллекте, но, с другой, он же несет характер надчеловеческого или нечеловеческого, тогда как в упомянутых противостояниях именно рационализм выступал началом человеческого, а его оппонент — началом нечеловеческого.

В моделировании искусственного интеллекта именно ему как будто передают функцию высшего разума и божественной Софии. И тогда мы все-таки встаем перед вопросом уточнения терминов и категорий.

Первое сомнение вызывает реальность самой возможности определения «искусственного интеллекта» как «интеллекта». И тут уже иная проблема: соотношения рационального и эмоционального. Собственно, как одного из воплощений старых пар противостояния, на деле характерных для внутреннего состояния человека и его разума. То есть речь идет о том, что пара «рациональное – эмоциональное» есть внутренняя принадлежность интеллекта, а не момент его противостояния как рациональному, чему-то внешнему, либо, напротив, эмоционального как его сути, чему-то внешне привнесенному.

То есть если мы понимаем интеллект как исключительно способность к рациональному мышлению человека, логично выглядит попытка создания его искусственно как «искусственного интеллекта». И если понимать ее таким образом, ИИ действительно может быть рано или поздно создан и в своей мощности превзойдет рациональный интеллект человека. И тогда действительно возникает проблема — нужен ли на этом этапе развития оказывается человек или его историческая миссия оказывается исчерпана актом создания более мощной мыслящей системы.

Но, если быть более точными в определении, придется учесть, что в само понятие «интеллект» входят эмоционально-психологические начала: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение, а также внимание, воля и рефлексия. И встает вопрос: насколько в принципе возможно технически решить задачу создания искусственного воображения (и что будет воображать это воображение), искусственной воли и искусственной рефлексии. А соответственно, искусственных интересов и искусственных ценностей. И тогда уже нечеловеческих альтернативностей.

И в этом качестве «человеческий капитал» и «искусственный интеллект» вполне находят друг друга: и тот и другой функционально отграничены, ИИ считает, человек исполняет, и они дополняют друг друга. С той лишь оговоркой, что, с одной стороны, человек вытесняется из принятия решения и остается подчиненным, десубъективированным началом, а с другой — эта гармония, если и считать ее таковой, продолжается лишь до момента, когда тот же ИИ с помощью его создателей не конструирует ИИ-устройство, свое продолжение, которое сможет быстрее, точнее и дешевле делать все то, что делал человек.

И вот здесь определенная центральная развилка. Вопрос о том, для чего нужен искусственный интеллект и его совмещение с человеком: в одном случае — для оптимизации расходов и сокращения общего размера средств, расходуемого на оплату живого труда. В другом случае — для высвобождения человека от тяжелых, угнетающих и не требующих самостоятельного решения видов работ, предоставления человеку тех видов труда, в которых он может найти свою творческую самореализацию.

То есть речь идет не о соотношении искусственных расчетных устройств с природой человека, а о соотношении альтернативностей, двух типов общественных отношений, в первом из которых главной ценностью общества выступает полученная экономическая прибыль, а человек либо рассматривается как расходный материал производства, либо как сопутствующий элемент, вытесняемый из производства, но сохраняемый как охраняемый элемент, переведенный в режим «потребления»: умеренно-комфортного потребления без участия в политической жизни и производственном процессе, наподобие римского люмпен-пролетариата.

Во втором типе отношений как главная ценность рассматривается человек, а главной задачей социума и производства — создание условий для его возвышения всестороннего развития его потенциальных способностей.

В этом отношении и словосочетание «человеческий капитал» начинает раскрывать свое содержание: если сам капитал в научном смысле является не обозначением богатства, а определенным общественным и производственным отношением, при котором происходит производство добавочной стоимости и самовозрастание вложенного в производство капитала, то и «человеческий капитал» — это не собственно рабочая сила того или иного уровня удовлетворенности и профессиональной подготовки, а некое социальное отношение, при котором происходит возрастание человеческого богатства уже не в смысле экономической стоимости человека и его труда, а в смысле возвышения его личности и развитости его способностей и потребностей.

И в этом отношении искусственный интеллект сочетаем с человеческим капиталом как инструмент, работающий на его освобождение и развитие.

Если, конечно, под искусственным интеллектом не понимается средство ускоренной «рационализации» общества в смысле ее «менеджерианской оптимизации». В известном смысле эта опасность остается до тех пор, пока общественные отношения оказываются ориентированы на прибыльный эффект и сокращение расходов, а управление производством ментально отрывается от производства.

Проблема заключается в том, что сама традиция рационализма несла в себе не подчинение процесса умозрительным выкладкам, а отражение в логике мышления реальных отношений практики, с которой сталкивалось человеческое сознание. Победа мира рационального над трансцендентным стала наследием Века Просвещения, соединившего веру в возможности человека, уверенность в возможности преобразовании мира и создания разумного общественного устройства и убежденность в возможности обеспечения названного на основе достижений науки и техники. Как только из названного единства, созданного этой эпохой, изымается та или иная часть, остальные приобретают

ту или иную меру уродства. Так, в частности, если из единства с рационализмом изымается гуманитарность, изымается человек и задачи его развития, рационализм теряет собственную разумность и пытается навязать свои логические построения организации производства и социума, что и оборачивается конструктами наподобие модели общества, описанной Замятиным в книге «Мы».

Эта линия, выступая в своей традиции, выстраивается в цепочку от конструкта еще достаточно разумной веберовской бюрократии с ее инструктивностью и распределенной ответственностью через более позднее менеджерианство с его уверенностью в возможности управления процессами не на основании знания и владения ими, а на основании знания «законов управления», и вплоть до «конструкций эффективности», согласно которым, например, эффективность образования измеряется числом студентов на одного преподавателя, и чем студентов больше, тем и преподавание является более эффективным.

Главный враг сегодня — не предприниматели и не чиновник: первый хочет прибыли, и хотя готов за нее на преступления, он все же рационален. Второй — тоже рационален: хочет соблюдения инструкции и избавления от риска.

Самое страшное и вредное — менеджер: он вне рациональности. Он не ориентирован ни на безопасность, ни на результат. Только на самопиар и эпатаж, демонстрацию того, что еще он придумал оптимизировать и реорганизовать...

Менеджер не решает проблемы — он имитирует рационализацию их решения, создает впечатление деятельности и инновационности.

Оптимизатор имеет цель и средства: не результата добиваться и не работать, а изображать деятельность и инновационность. Изобретатель административного вечного двигателя: как бы придумать систему, где все будет работать само собой.

Менеджер — это человек, который, не умея ничего делать, считает, что умеет всем руководить и все реорганизовывать.

Когда-то идея «менеджеров» стала более чем популярна. Была даже знаменитая книга Бернхейма «Революция менеджеров». Она отражала реальность второй трети XX в., когда выяснилось, что быть собственником предприятия — не значит уметь им управлять. И отразила идею разведения функций собственника и управляющего.

Считается даже, что Бернхейм писал свою модель, копируя опыт сталинского СССР и предрекая, что именно подобным путем передачи власти от тех, кто владеет, к тем, кто умеет управлять, распространится на весь мир.

В книге были политические нюансы, сделавшие невозможным ее публикацию в СССР, и содержательные моменты, сделавшие ее публикацию явно непозволительной в рыночной Российской Федерации.

В частности, под самим процессом «революции менеджеров» понимался процесс вытеснения из сферы производства капиталистов-собственников.

Но в том смысле под менеджерами понимались люди, знающие и умеющие организовать работу.

В СССР идея подготовки специалистов в области управления стала модной в 1970–1980-е гг., отражая естественную потребность в новом уровне образования и профессионализма руководителей предприятий. Стандартным стал сюжет фильмов — конфликт старого директора завода, поднявшего завод в сложные годы после разрухи, но управляющего по старинке, и молодого главного инженера или заместителя, призывающего к «управлению по науке». Формально все это было правильно, но открывало дорогу идее о том, что главное — владеть «искусством управления», а не разбираться в том, чем управляешь.

В современной России это вылилось, ко всему прочему, в тезис о первичности «управления финансовыми потоками» — главным было признано умение считать деньги и прибыль, а не разбираться в производстве. В лучшем случае нужно уметь пра-

вильно организовать производство, а не разбираться в том, как производить то, что производит данное предприятие.

Эта идея уже не значимости менеджеров, а «менеджерианства». И она оказывается порочной как минимум в двух отношениях: разные производства, даже если это «производство услуг», во-первых, имеют разные периоды оборачиваемости капитала — и уже от производства автомобилей нельзя требовать показателей производства сигарет, а от космической отрасли — показателей производства автомобилей. Во-вторых, сам по себе рыночный показатель вообще может быть как конструктивен, так и деструктивен. Экономические показатели выше всего будут у производства порнографии и торговли наркотиками. Но социально — даже если прибыль от них пойдет на выплату пенсий по старости и стипендий для студентов из бедных семей — последствия окажутся разрушительны для общества.

С экономической точки зрения, скажем, с точки зрения руководителей финансового блока правительства России, — зарплату нельзя повышать, если не растет производительность труда. С социальной точки зрения — оплата труда в России оказалась в результате авантюры 1990-х гг. занижена настолько, что без ее повышения не будет расти производительность труда.

Другая сторона вопроса в том, что менеджерианец видит прежде всего нарисованную им красивую схему. Описанное у Толстого: «Первая колонна марширен... Вторая колонна марширен...». Менеджерианец считает скорость движения колонны как таковой. По средней скорости человека, не понимая, что идущие в колонне люди смотрят по сторонам, натирают ноги, завяжут от своего настроения.

Менеджерианец рисует схему — и уверен, что если все будут действовать согласно ей, все сложится очень хорошо. Но, во-первых, это он в этом уверен — и вовсе не факт, что это именно так. Во-вторых, если это даже так, нужно, чтобы все задействованные в схеме люди работали именно соблюдая эту схему.

А им этого может вовсе не хотеться — по самым разным причинам: от того, что им это неудобно, до того, что они не верят, что от этого будет смысл. Или еще обыденнее — что они пришли на работу потому, что представляли ее определенным образом и в определенном ритме. А новый «менеджер» требует, чтобы они работали в другом.

На самом деле он вполне может быть объективно и прав. Но те, кто работает давно и работать умеет, могут не желать в угоду его схеме переделывать свои привычки. А те, у кого этих старых и вредных привычек нет, могут и согласиться работать так, как требует он по ритму и стилю, но не имеют привычек именно потому, что не имеют опыта, а не имея опыта, не чувствуют природы того, с чем имеют дело, и лишь ломают все, к чему прикасаются.

Менеджер хочет унифицировать процесс, но не просто унифицировать, а добиться унификации работы мастеров, а они, мастера, по определению не хотят унифицироваться.

Менеджер объявляет те или иные новые условия работы, непривычные работающим, и полагает, что те, кому это не нравится, уйдут, а те, кто останется, будут работать по новым условиям: при сниженной зарплате и повышенной нагрузке.

И затем удивляется, что никто не ушел. И потом с ужасом узнает, что никто не работает ни по-старому, ни по новому — все лишь уверенно отчитываются об объективных и непреодолимых обстоятельствах, не позволяющих работать никак. Но получая сниженную зарплату. Тем более в условиях страны, давно овладевшей искусством делать вид, что работает, когда власть делает вид, что платит.

Менеджерианец верит в свою схему — профессионала она смешит.

Менеджерианец проваливает одно направление работы за другим, а власть все думает, что на новой он справится.

Страной правят менеджеры, может быть умеющие считать прибыль, когда она есть, но не умеющие налаживать производ-

ство, когда его нет. И не разбирающиеся в том, чем они руководят.

Это вообще проблема «комплекса менеджерианства»: наивное представление о том, что если ты придумал красивую схему, то люди действительно будут вести себя в соответствии с ней только потому, что она тебе нравится. Людей можно заставлять работать, но тогда они никогда не будут работать хорошо. Людей можно вдохновлять на работу, но для этого нужно, чтобы было чем вдохновлять. Людей можно стимулировать к работе ее оплатой. Только оплата должна быть такой, чтобы ее признавал достаточной не тот, кто платит, а тот, кто ее получает.

Менеджер — это человек, который берется руководить тем, в чем не разбирается. И имитирующий свою работу постоянными перестановками в ее организации.

Логическим завершением чего и является уверенность в спасительном значении «искусственного интеллекта», в конечном счете оказывающегося воплощением антропологического пессимизма, предполагающего неспособность человека самостоятельно устроить свою жизнь и организовывать жизнь общества в целом, а потому требующего для своего существования диктата тех или иных разработанных без его участия формально непротиворечивых расчетных схем, нивелирующих и элиминирующих из его жизни эмоциональную составляющую и ценностно-целеполагающих установок.

То есть вопрос не в том, возможно или невозможно создание высокоскоростных расчетных устройств, а в том, для чего они будут использованы — подчинены человеку или поставлены над ним.

Безусловно, при этом так или иначе всегда существует условная угроза для человека, связанная с тем, не окажутся ли способности этих устройств более впечатляющими, чем способности человека. При некоторой абстрактности этой угрозы в принципе она есть. И существует проблема возможности обеспечения защиты от нее. Но как раз здесь, как представляется, реальной

защитой может быть только развитие самого человека — т. е. создание в социуме таких условий, когда скорость развития человека в единстве его рациональной и эмоциональной составляющей оказывается значимее и эффективнее скорости быстрого действия конкурирующего с ним искусственного интеллекта.

Если же возможно нечеловеческое идеальное альтернативное политическое конструирование, то тогда возможна сама альтернативность человеческому как альтернатива нечеловеческого будущего. И если предположить, что это возможно, т. е. если возможен полноценный ИИЧУ — Искусственный интеллект человеческого уровня, то, учитывая, что все названные моменты есть производное от отношения человека с миром, их искусственные воплощения должны стать производным, но не их, а названного искусственного интеллекта. То есть в этой возможности они как минимум будут означать вытеснение человека из мира, хотя именно их, скорее всего, воссоздать невозможно.

Не менее важно и то, что собственно мы включаем в понятие «человеческий капитал». И здесь тоже возникает некое различие. В обыденном смысле последний выглядит и трактуется как составное производственного и экономического процесса: как часть капитала и присущих ему экономических и стоимостных отношений, в этом смысле лишь более красивым термином заменяя категорию «рабочей силы». С этой точки зрения он тоже требует внимания и вложений: обучения, поддержания здоровья работника, возможностей его полноценного восстановления между производственными циклами.

4.3. Будущее из прошлого: COVID-19 и Порог Синед Роба

Во всех драматических процессах, связанных с эпидемией нового коронавируса, нет ничего принципиально нового и необычного. Суть ведь не в особенностях данной инфекции — суть в том, что люди сталкиваются с некой смертельной альтернативой, противостоять которой они не готовы. И мечутся

в безуспешных, отчаянных и обреченных попытках спастись от угрозы.

Причем даже не в том отношении, что не знают, как противостоять в том или ином отдельном случае, а не знают, как противостоять при массовом проявлении.

И абсолютно неважно, в чем суть этого вызова: в выходящих на поверхность планеты из океана саламандрах, в негаснущем пожаре на тихоокеанском острове, сжигающем атмосферу земли, в вырывающихся на свободу из заповедников и плантаций хищных трифидах, в занесенном на планету вирусе или в вирусе, вырвавшемся из военных лабораторий.

Среди сразу всплывающих в памяти почти классических работ можно напомнить «Война с саламандрами» К. Чапека, «Пылающий остров» А. Казанцева, «День Триффидов» Д. Уиндема, «Почти как люди» К. Саймака, «Стальной прыжок» Пера Валё, сюжет Планеты «Надежды» в «Жуке в муравейнике» А. и Б. Стругацких, да и, с оговорками, в их же «Волны гасят ветер», или «Звездах — холодных игрушках» С. Лукьяненко.

Последняя интересна заложенной версией образования цивилизации «Мира Геометров», с которым сталкиваются попавшие в зависимость от звездного «Конклава сильных рас» земляне. В отличие от негуманоидных «Рас Конклава», «Геометры» генетически идентичны землянам. И в отличие от землян, оказались не слабой и подчиненной планетой, а сверхцивилизацией, способной перемещаться в Космосе вместе со своей звездной системой. Цивилизацией, на планете которой побережья материков выровнены по геометрическим линиям. Цивилизацией, первые контакты которой с «Конклавом сильных рас» приводят последних в шок. Цивилизацией, которая никогда не использует оружие и никогда не воюет: она только борется за мир. На ее кораблях, самый маленький из которых выводит из строя треть лучшего флота «Конклава», нет вооружения. Принципиально. При необходимости они лишь *«нетрадиционно применяют»* разведывательное космическое оборудование: *«Релятивистский*

щит, от которого в порошок рассыпаются любые препятствия, противометеоритные пушки, сейсмические зонды, предназначенные для “зондирования недр и преодоления нерасчетных ситуаций, ремонтные лазеры” и прочее сугубо мирное оборудование».

Цивилизация исповедует исключительно идеологию дружбы. Все направлено на развитие и образование человека. Центральную роль в обществе играют учителя-наставники, сохраняющие связь и дружбу со своими учениками на десятилетия после выхода последних в большую жизнь.

Авторитет наставников безусловен, и основу его заложила страшная эпидемия, века назад обрушившаяся на планету, сократившая население и полностью уничтожившая одну из двух существовавших человеческих рас.

Вторая также стояла на грани исчезновения, но была спасена наставниками, открывшими лекарство, победившее болезнь. Наставники стали спасителями и учителями, определяющими все основные моменты развития планеты, сделавшие ее могучей цивилизацией Добра, Дружбы и Мира. И почти никто не знает, что наставники потому смогли спасти цивилизацию и победить эпидемию, что именно они и создали смертельный вирус, одновременно создав и противоядие от него.

Это просто был их план утверждения на планете своей власти, и идеологии, и санации всего лишнего, что на планете скопилось и что было не готово принять Идеологию Дружбы и создать великую сверхцивилизацию, способную передвигать в Космосе планеты, звезды и солнечные системы.

Сюжет Лукьяненко — это уже скорее ближе к бытующим конспирологическим гипотезам, но суть-то примерно та же: наступает момент, когда мир оказывается не способен противостоять внезапным, почти безликим угрозам и должен либо вымереть, либо радикально измениться.

У Пера Валё тоже заражение происходит в рамках операции по повышению управляемости общества, только выходит из-под контроля, парализовав все структуры управления обществом.

Все это было описано — и в приведенных классических произведениях, всерьез осмысливающих проблемы угроз современного мира, и в массе запугивающих антиутопий, одним из смысловых стречней которых является постулат: прогресс невозможен, лучшего мира создать нельзя, а человек по мере истории либо так и остается тем же дикарем, либо становится еще хуже.

Конструкт всех моделей основан на осмыслении реальных противоречий развития мира. С одной стороны, мир становится все более взаимозависим и коммуникационен, и угроза, которая 300 лет назад заглохла бы в рамках своего региона, вырывается в окружающий мир, не успевающий ее осознать и подготовиться к ней. С другой стороны, мир хотя глобально и взаимосвязан, в плане управления на деле раздроблен и не готов отобилизоваться на наднациональном уровне в противостоянии наднациональной угрозе.

И к тому же мир разделен не только слабостью наднациональных институтов управления, он разделен интересами. И в первую очередь даже не национальными, а сословно-классовыми. И претендующие на наднациональность транснациональные корпорации противостоят своими интересами общим интересам мира в много большей степени, чем последним противостоят интересы национальных государств.

Национальные государства вынуждены одновременно противостоять и нависшей наднациональной угрозе, в данном случае того же COVID-19, и транснационалов, и других национальных государств. То есть возникает ситуация, когда опасность транснациональных угроз возрастает просто в силу возрастания взаимозависимости мира, а способность координировать свои действия в противостоянии им не может преодолеть порог общей разобщенности интересов.

Возникни нынешняя эпидемия COVID в той или иной, тем более не приморской провинции Китая триста лет назад, о ней мало кто смог бы и узнать: характер коммуникаций мог

не дать вирусу распространиться быстрее его естественного ослабления.

С другой стороны, возникни эта же опасность полвека назад, если бы она возникала на территории стран советского блока, ее блокировали и задавили бы в считанные недели. Возникни же она на другой половине планеты — ее, скорее всего, просто не допустили бы на территорию стран социализма.

Возникни та же угроза эпидемии в Мире Полудня Стругацких — ее блокировали и уничтожили бы силами всей планеты при общепланетной власти Совета Земли и спецакциями КОМКОНа-2.

Сегодня угрозы уже становятся наднациональными, а способности у человечества к наднациональному действию и наднациональной координации нет.

На первый взгляд здесь вопрос и запрос на пресловутое Мировое Правительство.

И действительно, без подобного правительства преодолевать подобные угрозы, которых, кстати, в силу разных причин будет становиться все больше в ближайшие годы и десятилетия, будет все сложнее.

А их действительно будет становиться все больше: потому что взаимосвязь процессов, происходящих в мире, уже становится все больше.

Но здесь возникает проблема другого противоречия: уже между глобальным характером взаимосвязи в мире и частным характером интересов крупных политико-экономических субъектов в этом же мире.

Иначе: если бы в современном мире Мировое Правительство и возникло, это не было бы общее правительство всей земной цивилизации. Это было бы либо приятельство транснациональных корпораций, подчиняющих весь мир и все национальные государства своим экономическим интересам, либо правительство наиболее сильных национальных держав, подчиняющих весь остальной мир и все остальные национальные

государства национальным интересам своих правящих имущих групп, классов и кланов.

То есть, с одной стороны, нарастание транснациональных проблем требует единого управления Землей. С другой — создание подобного единого управления может идти либо в векторе тех же Советов Земли И. Ефремова и А. и Б. Стругацких, т. е. в векторе «Мировой республики Советов» (т. е. создания социалистической системы в общемировом масштабе), реальные основания которой в современном мире крайне сложно увидеть, несмотря на возрастающее могущество Красного Китайского Дракона и ту, как кажется, быстроту и эффективность, с которой он блокировал и подавил инфекцию на своей территории. Либо в векторе «Железной пяты» Дж. Лондона (1908) — общемировой олигархической диктатуры (почти оно же — «Мир Торманса» И. Ефремова).

Только вариант «Железной пяты» в мире противостоящих транснациональных интересов также мало оказался бы способен к противодействию нарастанию транснациональным угрозам, как Евросоюз — к борьбе с COVID-19.

То есть проблема все та же, которая стояла при описании в классической литературе всех подобных сценариев: мир не готов к отражению транснациональных угроз. И человечество должно будет делать выбор: изменить систему и условия своего существования, упразднив систему рынка и частной собственности, либо согласиться на самоуничтожение.

Вообще-то именно то, что имел в виду Иван Ефремов, когда писал о своем «Пороге Синеда Роба»: цивилизация, не сумевшая перейти к социализму до выхода на этап транснациональности, уничтожает сама себя в ходе собственного развития.

И это тоже плацдармы будущего — как будущих угроз и неготовности мира к противодействию деструктивным альтернативам. Поскольку эти деструкции — производное наследование непредвиденно-созданного.

Прорыв в Космос показал путь к Миру Познания. Чернобыльский вызов продемонстрировал, что идущие по этому пути

могут останавливать рожденные их же ошибками смертельные угрозы, идея искусственного интеллекта продемонстрировала, что, возможно, в будущем обойдется без человека, пандемия COVID доказала, что человеческая цивилизация в существующем виде не способна эффективно отобилизовываться в противостоянии с угрозами будущего.

4.4. Зоны высоких технологий как зоны политического проектирования новой эпохи

Барьер Синед Роба, о котором писал Иван Ефремов, предполагал, что любая цивилизация, достигшая технологических возможностей самоуничтожения, но не перешедшая к социализму и коммунизму, т. е. организации Общества Познания и Созидания, с неизбежностью уничтожает сама себя.

В частности потому, что высокие технологии требуют нового типа мотивации и организации, которыми Общество Потребления в принципе не обладает, а противостояние интересов системно рождает неустрашимые конфликты.

При этом можно предположить, что возможен, хотя и не предопределен пугающий вариант, когда возникающие вокруг новых технологий зоны и образования в мере своего развития конструируют модели организации нового типа, становятся зонами альтернативного политического проектирования новой эпохи.

Формально политические конструкты государственного устройства, существующего в стране, должны быть едины и регулироваться единым законодательством. Хотя это не мешает различным субъектам федерации вносить свою специфику в их организацию, вполне естественно мотивируя это разными условиями разных регионов и разными историко-культурными особенностями их народов.

Что, в общем-то, вполне обоснованно.

Однако сама историко-культурная разница не возникает ниоткуда и во многом обусловлена сложившимися особенностями

ми жизни и организации труда. Политические формы организации общества и общественного самоуправления — это формы управления и руководства определенным процессом, в конечном счете — процессом жизни и производства.

В стране, где доминируют традиционные сельскохозяйственные работы, формы правления будут соответствовать этому производству. В стране, где доминирует промышленное производство, потребуются их соответствие отношениям этого производства.

Как еще, кажется, в «Нищете философии» писал Маркс: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом».

При всех естественно-возможных оговорках власть в социуме естественным образом принадлежит тому слою, который играет основную роль в производстве данного социума.

Процессы и вопросы безопасности на территориях атомной отрасли с неизбежностью представляют особый интерес для общества как в силу сложившихся стереотипов восприятия, так и в силу специфического характера самого технологического процесса данной сферы и возможной опасности его выхода из-под контроля человека.

Отсюда вопрос и о том, как должна быть организована власть в атомоградах и наукоградах. Но если основу их составляет цивилизационно новое технологическое производство, где главную роль играют носители и производители знания, то и ключевые властные функции в данных социумах должны принадлежать им же.

Минимум по двум причинам. Первая: управлением организацией жизни людей определенной профессии, в данном случае ученых и технологов, должны заниматься те, кто знает особенности труда и жизни этих людей, т. е. люди их круга.

Вторая: власть над носителями определенной статусности и компетенции эффективно могут осуществлять лишь те, кто

легитимен для носителей этой статусности и этой компетенции, т. е. люди, обладающие не меньшей статусностью.

Потому что легитимность — это не процедурная легальность избрания, легитимность — это согласие на подчинение тех, кто должен будет подчиняться этой власти.

Но есть и еще один не менее важный момент. Само управление тем или иным высокотехнологическим объектом предполагает свои особенности, основанные на компетентностном управлении: управляют процессом те, кто разбирается в его тонкостях.

Никому никогда не придет в голову определять руководителя военного городка равным голосованием всех проживающих в этом городке.

Атомоград, как любой наукоград, — это не муниципальное поселение, где по случайности живут работники наукоемкого объекта, это городок этого объекта, ровно такой же, как общежитие завода или территория университетского городка того же МГУ. То есть решения здесь может и должен принимать не некий глава поселения, а тот, кто руководит данным объектом. Атомоград — это жилая зона атомной станции и иного соответствующего объекта, а не отделенное от него жилое поселение.

Как жилая зона, это именно часть данного объекта, как любая иная его часть, и она должна управляться теми и в той субординации, в какой и кто управляет самим объектом.

Разумеется, данная жилая зона включает в себя совокупность естественных муниципальных функций: снабжения, торговли, школьного и дошкольного обучения детей, медицинского обучения, озеленения, тепло- и водоснабжения и т. д.

Но в данном случае это не обычные функции обеспечения жизнедеятельности города, это функции обеспечения образующего его производства, работающие под требования и запросы данного производства.

Поэтому подчиняться они должны не общим функциональным требованиям, а тем задачам, которые ставит перед ними производство.

То есть на территории наукограда власть должна осуществляться не стандартными выборными муниципальными органами, а Ученым либо Научно-производственным Советом образующего предприятия (предприятий), и окончательные решения должен принимать руководитель данного предприятия.

Собственно, это давно артикулированный принцип меритократии в его здоровом понимании: управлять обществом знания должны носители этого знания, а не менеджеры, юристы, экономисты либо дизайнеры. Тот этап, когда власть переходит от элиты знати и элиты денег к элите знания.

И дело даже не в неких моментах справедливости и этики: не может бухгалтер или иной носитель непрофильной специальности управлять высококвалифицированными физиками-ядерщиками.

Дело в том, что нынешние атомограды и наукограды — это организационно-технологические прообразы всего будущего общества — того, когда все производство социума будет состоять из их аналогов.

Опыт и организация управления и самоуправления на территории городских образований атомной отрасли могут и должны рассматриваться как своеобразная лаборатория по выработке новых форм организации общества будущего, схем и систем меритократического правления.

И сегодня они — зона не только отработки новых технологических процессов, они оказываются зоной отработки новых форм политического правления, которое должно строиться не на пиаре и популярности, а на компетенции управляющих. Причем компетенции не менеджерианской, когда «управляющий» управляет, зная «законы управления» и практически ничего не понимая в том, чем именно он управляет.

И вот тут главный момент, во всяком случае главный момент управления зонами наукоградов: не производство должно вписываться в исповедуемые менеджерами законы управления,

а управление должно подчиняться законам функционирования производства.

Строго говоря, именно эти моменты учитывались в свое время в советских наукоградах, где, чтобы занять пост того или иного первого лица — Первого секретаря горкома КПСС или Председателя Горисполкома, прежде нужно было быть обладателем ученой степени доктора наук по профилю базового производства данного города.

Эта традиция продержалась еще до начала 1990-х гг., но оказалась утеряна по мере утверждения странных идей о том, что общественной жизнью должны управлять юристы, экономисты и менеджеры, — т. е. именно те, кто к реальной предметной деятельности отношения не имеет.

Организация политической жизни наукограда — это лаборатория выработки форм правления будущего общества.

Данные объекты, представляющие единство жилых поселений и технологических объектов отрасли, должны рассматриваться как единый комплекс, наподобие университетских городков, подчиняющийся не общегражданской администрации, а органам управления и самоуправления данного производственного объекта.

Инфраструктура данных городских образований должна строиться как система обеспечения жизнедеятельности технологического объекта, обеспечивающего снабжение, трудоустройство, медицинское обеспечение и образование детей работников предприятия.

Реальное участие и значимость мнения каждого жителя данного образования должны рассматриваться с учетом его научно-производственного статуса на данном объекте.

Соответственно выглядит вопрос и общественного контроля на данных территориях.

С одной стороны, организация формы меритократического правления через Ученые советы уже есть форма общественного контроля. Потому что она сама есть форма общественного

правления специалистов. С другой стороны — вообще лишается смысла идея «общественного контроля неспециалистов» за процессом, в котором могут разобраться только специалисты.

Деятельность общественных организаций на данной территории возможна и целесообразна только как деятельность общественных организаций самих этих специалистов. И в этом отношении атомограды действительно должны быть своего рода закрытыми территориями: в том смысле, что они живут по тем правилам, по которым хотят жить те, кто обеспечивает их производственную деятельность, а не те или иные «представители общественности», которые к этой территории и этому производству не имеют отношения.

В силу данного обстоятельства особое значение приобретает преодоление предубеждений, существующих среди неспециалистов, определенной части журналистского сообщества и общественности, — о необходимости открытости в вопросах освещения реального действия систем системной безопасности объектов.

При этом подчас большая опасность в этой сфере может исходить не столько от самих атомных объектов, сколько от политических и информационных спекуляций на эту тему, что может стать фактором информационных диверсий против страны.

Открытость в вопросах информирования граждан о деятельности атомных объектов должна сочетаться с контролем за информационными потоками, способными вызывать политические спекуляции или способствующими разглашению информации, представляющей угрозу для безопасности страны.

И в этом плане особым образом выглядит и вопрос миграции на эти территории, и вопрос бизнеса, в частности — торговли на них же.

Жить на территории атомограда могут иметь право только те, кто либо работает на образующем город объекте, либо работает в сфере обеспечения его производственной деятельности, либо тот, кого хотят видеть на этой территории те, кто на данном объекте работает.

Может показаться, что это противоречит конституционному праву на выбор места жительства. Но на деле это лишь его реализует: это место жительства создано и выбрано теми, кто работает на образующем производстве, и значит, оно ими уже занято — их выбор уже осуществлен и реализован, а любой последующий выбор желающих жить в местах их поселения не должен входить в противоречие с их выбором.

Городом должны управлять те, кто управляет образующим его производством. И, строго говоря, обществом вообще должны управлять те, кто осуществляет производство, обеспечивающее жизнь этого общества. Именно те, кто осуществляет процесс производства, а не те, кто считается собственниками этого производства.

Соответственно, система образования данных структур должна быть ориентирована на воспитание в учащихся чувства причастности к градообразующим высокотехнологическим предприятиям данной территории, ощущениям значимости данных объектов, ценностей познания и созидания.

Технологическое лидерство требует опережающего развития образования. Нельзя завтра стать лидером в новом производстве и науке, не воспроизводя пиетет к знанию и образованию.

Ускорение технологического развития страны требует производства соответствующей рабочей силы. То есть требует образования, нацеленного на обеспечение прорыва в производстве.

Следовательно, это образование не может быть таким, каким оно является в странах, пусть и благополучных, но не нацеленных на технологический рывок.

Задача образования в наукоградах — готовить специалистов для своего производства, требующего обеспечения технологического прорыва.

Последнее требует специалистов, обладающих нестандартным креативным мышлением, ориентированных не на воспроизведение имеющихся подходов и решений, а на производство новых.

В целом можно выделить три значимых пласта организации жизни наукоградов. Первый — социально-бытовой: организации обеспечивающих сфер — здравоохранения, образования, снабжения. Второй — общественно-политический: организация управления/самоуправления, деятельность политических, общественных организаций и СМИ. Третий — вопросы отношения с внешним обществом.

В отношении первого пласта проблем речь идет о том, что каждая из названных сфер должна существовать не как функционально-самостоятельная сфера, а как система обеспечения градообразующего производства или производств.

Медицинская сфера организуется в первую очередь не как сфера оказания помощи населению города при возникновении необходимости, а как сфера постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников производства, медицинского обеспечения научно-производственного процесса. Это не значит, что медицина города работает только на предприятия, игнорируя здоровье остальных — это значит, что все жители города по определению являются сотрудниками данных предприятий (либо членами их семей).

При этом данная сфера полностью ориентируется на априорное оказание помощи — т. е. в первую очередь ориентирована на систему регулярной профилактической работы и диспансеризаций, решающих задачу выявления первых признаков заболеваний и устранения их на ранней стадии. Финансирование подобной работы должно быть заранее заложено в статьи федерального бюджета, медсанчасти этих поселений, централизованно курироваться единым центром в рамках Министерства здравоохранения с правами Главного управления, техническое обеспечение должно осуществляться на уровне Федеральных научно-исследовательских клинических центров.

При этом режим работы сотрудников предприятий должен предусматривать как день для ежегодной профилактической диспансеризации, так и не менее одного дня в месяц для текущего

профосмотра, а распорядок рабочего дня — включать не менее двух часов для занятий физкультурой и спортом под наблюдением врача в рамках восьмичасового рабочего дня.

Сама система медицинской службы наукограда должна обладать потенциалом мобилизационной готовности, позволяющей обеспечивать успешное функционирование и защиту населения в случае форс-мажорных угроз, вытекающих из технологической специфики данных производств, таких как радиационная либо иная техногенная катастрофа, эпидемия, военное либо террористическое нападение.

Сфера образования, начиная со школьного, ориентируется не на стандартную общеобразовательную деятельность, а носить, в известной степени, характер специального профессионального образования, осуществляющего подготовку специалистов для предприятий наукограда. Это не значит, что выпускники средних школ наукограда в обязательном порядке должны в будущем реализовывать себя на его предприятиях.

Решается иная задача: привитие ответственности и самоидентификации, связанной с принадлежностью к семье сотрудников наукоемких предприятий. Намерение реализовать себя в данной производственно-творческой сфере поощряется, но не навязывается.

Формирование выпускника данной системы образования предполагает, что он становится носителем ответственности и ценностей общества познания, способным действовать в соответствии с ними в любой части страны, на любом производстве и в любой профессии.

Одновременно учащиеся системы включаются в участие в молодежно-юношеских, ведущих творчески-поисковую и волонтерскую работу.

Система среднего образования наукоградов официально отстранена от процедур ЕГЭ, строится на классических отечественных образовательных технологиях и опыте физико-математических и языковых спецшкол.

Поступление выпускников этой системы в вузы страны осуществляется на льготно-квотной основе. В самих наукоградах обеспечивается работа исследовательских университетов с широким профилем специализаций предприятий города.

Также иную специфику приобретают бизнес и торговля на этой территории. Они перестают быть сферами деятельности, имеющими своей целью получение прибыли (хотя внутри себя торговля ее и предполагает). Их задача — обеспечение снабжения продуктами и бытовыми товарами тех, кто работает на предприятии, т. е. они приобретают характер своего рода «столов заказов», существовавших раньше и существующих на крупных производствах: с задачей не торговли, а с задачей обеспечения снабжения.

То есть здесь начинают действовать некие формы пострыночной организации, когда товар обеспечивается под ранее осуществленный заказ, что постепенно реализуется сегодня и в системе современной торговли — форма, отчасти апробированная службами доставки в период самоизоляции, а отчасти реализовывавшаяся в советское время на крупных предприятиях в виде «столов заказов».

Второй — общественно-политический пласт жизни, строится как пласт жизни именно жителей наукограда.

Политические партии не должны иметь право создавать свои отделения на территории наукоградов по своей инициативе. Другое дело, что жители города, работающие на его предприятиях, имеют право создавать по своей инициативе партийные структуры как самостоятельные, так и однопрофильные с теми или иными федеральными партиями, — в этом случае они могут входить в ассоциированные отношения с федеральными партиями при сохранении высокой степени автономии.

Некоммерческие организации могут создаваться жителями наукограда, работающими на предприятиях города, за исключением организаций, имеющих иностранное финансирование либо сотрудничающих с НКО с иностранным финансированием.

Журналистской деятельностью на территории наукоградов могут заниматься только жители, имеющие стаж работы на предприятиях города либо окончившие учебные заведения наукограда.

Участие в журналистской деятельности города учащихся городской образовательной системы приветствуется.

Руководителями городских органов власти и муниципальных структур могут быть только лица, имеющие научную степень и не менее трех лет стажа работы на базовых предприятиях города, в городской системе образования или здравоохранения. Не ученый должен быть объектом управления со стороны менеджера или бухгалтера, а менеджер и бухгалтер должны быть исполнителями воли доктора наук, возглавившего ту или иную структуру. Как исполнители воли ученого-руководителя, они будут полезны. Как руководители — они могут быть лишь вредны.

Задача менеджера — не ставить цели, задача менеджера — исполнять волю ученого, поставившего перед ним текущую задачу. Как и задача бухгалтера и экономиста — не докладывать руководителю об отсутствии средств на достижение поставленной им цели, а находить способы изыскать средства на достижение этой цели.

В наукоградах поощряется добровольная инициативная молодежная деятельность, в первую очередь направленная на защиту окружающей среды, помощь представителям старшего поколения и органов охраны правопорядка, сохранение исторической памяти, научного творчества, развитие спорта и военно-патриотическую деятельность.

Третий пласт — вопросы отношения с внешним обществом. В этом отношении имеется в виду, что производственные, общественно-политические структуры наукограда, обладая высокой степенью политико-правовой автономии, не изолируются от остального общества страны, действуя в рамках его правовых норм (с оговоренными уточнениями, утверждаемыми федераль-

ными законодательными органами власти) и находятся в федеральном подчинении.

Но они выступают носителями особого социального опыта, знакомят с ним структуры и граждан других поселений, помогают в его внедрении, вступают в ассоциативные отношения с другими подобными поселениями, совместно отстаивают свои интересы в отношениях с федеральными органами власти, при этом выступая их опорными точками влияния на территории соответствующих субъектов федерации.

В целом наукограды, выступая как форпосты и авангардные плацдармы производства будущего, решая свои научные и производственные задачи, играют роль социальных лабораторий создания новых форм политической и социальной жизни, создавая одновременно и формы политической организации, также выступая авангардными формами политической организации общества будущего.

Иначе говоря, имеется в виду, вырабатывая новые политические формы высокотехнологического общества, они должны постепенно и распространять их вовне старых наукоградов, покрывая страну этими новыми формами, опытным путем созданными на их территориях.

Глава 5

Наследование опережения

Традиционное наследование предполагало возможность простого воспроизведения ценностно-мотивационной интеллектуальной основы прошлого для его постепенного развития и медленного восхождения. При этом тогда мотивационно-ценностную основу достаточно было строить на трансцендентной интерпретации мира в его сохраняющемся постоянстве. С момента наступления Колумбово-Коперниковой эпохи перед человечеством встает вопрос о возможности изменения устройства мира, место доминирования ценностно-мотивационных начинают занимать ценностно-целевые, мир начинает рассматриваться как изменяемый, причем скорость его изменчивости резко возрастает. Рождаются мировые политические идеологии. Начинается переход от цивилизаций постоянства к цивилизации прорыва. В целом в мире этот переход стартует с Великой Английской революции, в России его началом становится деятельность Петра Великого, предложившего новаторский на тот момент курс прорыва, но не изменивший в целом характер России как цивилизации постоянства. Цивилизацией прорыва Россия становится при в полной мере наследовавших ему предшественников субъекту альтернативности, который данное альтернативное конструирование создал и реализовал в начале XX в. Он не мог бы быть тем же по составу в силу физиологических причин, но он оказался и лишен имевшихся в прошлом качеств обеспечить последующее наследование прорывных интенций прошлого. В результате данное положение вещей ставит страну перед проблемой Барьера Синед Роба, разрешить которую можно лишь обеспечением расширенного наследования, под которым понимается не только наследование альтернативных конструктов, но и характера той субъектной альтернативности, которая данное альтернативное конструирование обеспечила и реализовала в начале XX в., — не тот же по составу, но об-

ладающий имевшимися в прошлом качествами. Однако и этого недостаточно: наследование прошлого цивилизации прорыва требует не только наследования его проектной альтернативности и аналогичного субъективирования, не только ретрансляции целей и ценностей, но и того фактора характера производства базовых латентных образцов, который выходит за ценностные рамки деятельностных установок политической культуры на опережающее наследование. Что предполагает и наследование ранее достигнутых свойств единства социально-политического курса власти, общественных настроений и ожиданий, ярких впечатляющих образов целеполагания и целедостижения.

На фоне этого встает вопрос о готовности или неготовности общества, с одной стороны, к мобилизации как одной из форм наследования, а с другой, готовности принять наследование будущего как целеполагание. Отсюда и вопрос второго наследования, имея в виду, с одной стороны, что первое было осуществлено постоктябрьской реальностью в отношении прорывного курса Петра.

Это требует курса не только на прорыв в целом, но полной реконструкции существующего технологического контура, а с третьей — воссоздание человека, рассматривающего окружающий мир как познаваемое — с одной стороны, и доступное преобразованию — с другой.

5.1. Эпоха изломов постоянства

До начала Нового Времени мы имеем цивилизацию, существующую в состоянии постоянства без резких рывков в развитии.

Первым изломом этой «кривой постоянства» становится Английская революция. Кривая начинает изгибаться вверх. Потом Французская революция, еще резче поворачивающая эту кривую. Великая Октябрьская революция, потрясшая весь мир, означает вертикальный перелом кривой развития «цивилизации

постоянства» к «цивилизации прорыва» — это потрясение для всего мира. И затем этот вертикальный порыв прерывается, как полет комической ракеты, у которой на взлете отказал двигатель. В какой-то момент сбилась подача топлива, ракета начинает падать. Кривая цивилизационного взлета обернулась цивилизационным падением: не просто поражением коммунизма и СССР, а запуском механизма исторического регресса.

С точки зрения преодоления регресса и возврата к восходящему развитию встают следующие вопросы. Первое — чего мы хотим. Тут есть несколько развилок. Мы хотим общество, которое будет развиваться в соответствии с существующими тенденциями, или общество, для которого мы сможем создать условия для развития по его собственным законам? Мы хотим общество, которое будет посвящать себя материальному сверхпотреблению, либо мы хотим общество, в котором ценностью общественного поведения будет стремление к созиданию и познанию?

В котором люди увлечены любимой работой просто потому, что созидать интересно, что по большому счету отвечает определенным естественным потребностям человека. Человек создан процессом созидательно-преобразующей деятельности, вне его начинается процесс. Здесь возникает вопрос — каким группам социума это интересно, а каким неинтересно? Тогда встает вопрос — как должны быть организованы группы, которые делают этот выбор, и как должны строиться их отношения теми, кто предпочитает противоположный?

Отсюда вытекают и два другие вопроса о видении будущей государственной организации. Государство или общественная постполитическая организация, которая будет существовать, когда это состояние будет достигнуто, — это одно. Государственная общественная организация, которая будет по пути к этому обществу, — это другое.

С этой точки зрения то, что видится как постполитическая организация общества созидания и потребления, — это общество всеобщего участия, что сейчас уже достаточно легко осу-

существовать благодаря интернет-технологиям. Это общество, где существует коллегиальный Мировой Совет, принимающий решения по мере актуализации тех или иных проблем, состоящий из избранных в него специалистов в своих сферах, причем две трети в нем занимают учителя и врачи как две основные специальности, создающие человека как личность и гарантирующие его развитие и здоровье. Это общество, в котором стремление к труду является основным латентным образцом, а стремление к созиданию и познанию является основным адаптивным механизмом. Интеграция этого становится целью общественного развития. В этом отношении, если прочитать вопрос об интегральной идеологии России, интеграция происходит вокруг каких целей? Тогда надо ставить вопрос о целеполагании этого общества или нынешнего состояния. А тогда действительно образы того, что мы ставим своей целью.

Но это то, что является целью и что предполагается создать, если говорить о том состоянии, которое должно быть по пути к этой цели, потому что это состояние не может быть достигнуто сразу, — это та промежуточная организация этапа Большого Перехода, ориентированная на обеспечение сотрудничества творческой созидательной деятельности, обеспечение этапа строительства. Это тоже отчасти корпоративная организация, творчески-корпоративная, по типу организации деятельности в атомном и космическом проектах (Курчатов, Королев). Условно говоря, это сети, подчиненные генеральным конструкторам при некоем общем политически-координирующем руководстве.

Организация созидательного процесса, наследующего трем Великим созидательным проектам послевоенного периода: проект «Космос», проект «Атом», проект «Преобразование природы». «Космос» — познание внешнего мира, выход во внешний мир. «Атом» — познание микромира. «Преобразование природы» — изменение окружающего мира. По сути, тогда рождалась политико-философская ценностная основа будущего устройства мира, общества, где самое главное и интересное для человека —

Познание и Преобразование. В этом отношении образ общества и социальная структура — это общество созидателей, общество творцов, в котором есть определенное профессиональное деление, но нет социально-классового деления.

И здесь тоже стоит проблема выбора. Что мы хотим создать:

- страну, производящую научные знания и на их основе обеспечивающую функционирование своего производства, или страну, поставляющую сырье и зависимую от чужих технологий?
- страну, основанную на всеобщем участии и общественном самоуправлении, или страну, опекаемую «Железной пятой», как раз 100 лет назад описанной Джеком Лондоном, — и хорошо еще, если своей отечественной?
- страну, где человек ни от чего не получает большего наслаждения, чем от любимой работы, или страну, где он ни от чего не получает большего наслаждения, чем от счета в зарубежном банке и поездки на заграничный курорт?

Что для этого нужно? В первую очередь, развитие отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс, приоритетное развитие фундаментальной науки и технолого-производящих направлений, параллельной организацией реконструкции существующих производств на тех технологиях, которыми располагают отрасли, остающиеся лидером в технологической сфере, и тех технологиях, которые удастся получить извне.

Причем в любом случае центральный здесь вопрос — это именно создание производства, в котором все, что не требует самостоятельного решения, отходит технике. Все, что требует таких решений, — отходит человеку.

С одной стороны, здесь стоит задача освобождения человека от неинтересного труда, с другой — его использование там, где наибольшую отдачу могут дать именно его творческие способности и его потенциал нестандартных решений.

При этом стоит вопрос и о собственно технологической реконструкции.

В этом отношении сам социум будущего можно как принцип и явление определить через три упомянутых момента: на первом уровне это собственно признание обществом ответственности за условия развития человека; на втором — общественное признание человека не только объектом заботы, но субъектом и самоценностью социума; наконец, на третьем — исторически доступное воплощение общества саморазвития и возвышения человека.

Само по себе в научном смысле это не строй, не политическая система, это принцип отношения общества к человеку. Но как принцип, воплощенный в конкретном общественном устройстве, он может рассматриваться и как определенный тип этого устройства.

Модель экономики здесь естественная, отчасти сохраняющая варианты социального предпринимательства, т. е. когда человек частным образом занимается некоей экономической деятельностью не потому, что хочет получения прибыли, а потому что это ему интересно. Например, интересно опубликовать книги, которые сейчас не опубликованы. Подобные виды социальной предпринимательской деятельности, скорее всего, остаются. В остальном, чтобы не пугаться слова плановая экономика, это пострыночная экономика, потому что рынок и план — это не две альтернативные линии развития. Рынок — это одна фаза, «фаза парусного судоходства», план — это другая фаза, «фаза пароходства». План — это учет требований спроса и предложения на глубину перспективы.

Движению вперед, восхождению мешает «массовый сытый человек», т. е. обкормленный человек, мешает массовая культура, когда огромная масса людей получила доступ к высоким достижениям культуры, но не может ее освоить, мешает бюрократизация и мешает ориентация власти на массового потребителя и на развитие установки повышения потребления общества.

Но сегодня задача на порядок сложнее: мешает действие механизма социального и исторического регресса, и встает вопрос, как его обратить вспять и как надо заново выстраивать механизм социального прогресса заново. При этом нужно учитывать, о чем идет речь, когда говорится о прогрессе. Есть два понимания прогресса: одно — постмодернистское, когда прогресс — это любое изменение, когда под прогрессом начинает пониматься разрушение даже не отжившего, а просто существующего, в частности — всей и всяческих запретов, самой культуры и самой цивилизации, суть которых — именно в существовании запретов; другое — понимание прогресса как линии восхождения человека в его развитии, в развитии его способностей как создателя и творца.

И главное, что мешает, — боязнь напряжения и прорыва. У Большой тройки советских художественных футурологов — Стругацких, Ефремова, Казанцева, в конце 1960-х гг. появляется серия предупреждающих негативных прогнозов. Они исходили из того, что движение в будущее и само будущее не лишены проблем и противоречий, которые они описывали. Они предупреждали: путь сложен, но если вы испугаетесь этих препятствий и этих противоречий, то будете обреченно ходить по кругу в испугавшихся будущего «проклятых мирах».

И оказались правы: отказавшись от установок жизни в Обществе Познания и Созидания в пользу мира нарастающего потребления, социум тогда открыл дорогу собственной деградации и углубил последнюю к концу 1980-х гг.

Вопрос в том, испугается ли прорыва социум сегодня и удовольствуется сытой и спокойной жизнью или не испугается.

И еще один очень важный момент. Политические идеологии, как единство ценностей и целей, появляются в эпоху упадка религии. При всей важности последних как стадий и форм развития человеческого представления о мире, религии предполагают видение мира как детерминированного и предопределенного. В эпоху Великих географических открытий и учения Коперника

(Колумбово-Коперниковский мир) новая человеческая практика рождает представление, что человек, если задумается, может водить корабли по морю против ветра, используя силу ветра. Что мир не детерминирован, что человек является хозяином мира, а не мир хозяином человека. Здесь рождаются все конструкции целеполагания будущего.

Прийти к будущему можно только отказавшись от двух вещей. Первая — от рыночной экономики, поняв ее исчерпание как частного формата представления о детерминированности мира. Вторая — от тех или иных доктрин, построенных на признании детерминированности мира теми или иными трансцендентными внешними силами.

5.2. Петр и наследование

В рамках этой эпохи Петр Первый в своем курсе, уводящем от обычая страну, по сути, воплотил в России прорывную модель организации государства, своеобразный тип цезаристской демократии, основанной на прямой связи общенационального и военного лидера с массовой поддержкой низов общества. И утвердил то, что можно было бы назвать «духом и делом Петра», — традицию проектной прорывности, отрицающую внешнюю детерминированность трансцендентально-религиозными началами и готовую к принятию вызова «свершения невозможного». Это стало институтом традиции, составной частью культуры и духовного наследия страны. Офицер в конечном счете во все времена пользовался в стране большим пиететом, нежели священнослужитель или даже партработник. Армия стала своеобразной родовой реликвией, фамильным талисманом. Любимая игрушка страны и народа.

Его преемники, в большинстве своем как императоры, были уже не династией Романовых, а династией Петровичей. На престол вступают не в силу родственных отношений с Михаилом Федоровичем, а в силу родственных отношений с Петром Ве-

ликим. Недолгое правление другой ветви в 1730–1740 гг. также было не только недолгим, но и неудачным, и непопулярным. Да и оно основывалось на родстве Анны Иоанновны с Петром как его племянницы.

Любимая же игрушка американского народа — бережно хранимый дома винчестер. Даже если им никогда не пользуются. В России народ имеет любимой игрушкой свою армию — даже если нечасто ею пользуется. Она, среди прочего, в значительной степени воспринималась не только как защитник от внешней угрозы, но и защитник от самоуправства власти. Хорошо известный афоризм: «Тот, кто не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую» — имеет свой аналог. Тот, кто не хочет признавать ограничения своей власти волей конституционно избранного парламента, вынужден будет признавать ее ограничение волей солдат гвардейских полков.

Елизавета обосновывает свою претензию на престол — и Россия признает за ней это право не как «правнучка призванного народом царя Михаила», а как «дщерь Петрова», и эти простые слова значат для нее, народа, русской гвардии куда больше, чем хитросплетения прав иных претендентов.

Павел I, отказываясь оставить престол по требованию восставшей гвардии, говорит о себе не как о потомке «призванного народом Дома Романовых», но как о «правнучке Петра Великого». Екатерина Великая, не имея, в общем, просто никаких внятных прав на престол, утверждает их провозглашением преемственности своей политики с политикой Петра и выбиванием на основании памятника ему имевших силу закона слов «Петру Первому — Екатерина Вторая».

Династия русских императоров была не династией Романовых, хотя ею считалась, но династией Петровичей.

Однако и здесь содержится неоднозначность: право на преемственность в этой династии давала не столько кровь Петра, сколько принадлежность его делу и его традиции. В частности — тому, что можно считать петровским вектором и петров-

ским драйвом. Легитимность династии русских императоров, да и в целом легитимность Романовых, оказывается соединением выбора, традиции и харизмы, но харизмы, принадлежность и соотношение с которой само становится традицией. Как царь, Петр имел прав на престол меньше, чем его старший брат Иван Алексеевич, полтора десятка лет считавшийся царствующим вместе с ним. Как император, Петр, по сути, тоже был избран: формально — Сенатом, неформально — армией и народом. И этот выбор позже подтвержден выбором Екатерины Первой, Елизаветы Петровны, Екатерины II и Александра I, а вот Павел Петрович не признан, получивший трон из рук верховных вельмож страны — Гвардией оказался не признан. Только выбирает теперь, как и положено в Империи, Гвардия, оказавшаяся в XVIII в. главным инструментом гражданского общества в России.

Отсюда, в глубине сути вопроса, принадлежность к Петровичам — т. е. наследникам «дела Петрова», оказывается не столько в родстве, сколько в наследовании связи с харизмой и новой традицией — традицией харизматичности и модернизаторства.

В отличие от растиражированного мифа — собственно Романовых на наследственное правление никто не призывал. Если бы призывали их, т. е. их род призывали, то престол занял бы тот или иной старший представитель этого рода. В частности, Иван Никитич Романов, дядя Михаила и племянник царицы Анастасии, как раз и был известен своими словами: «Тот есть князь Михайло Федорович еще млад и не вполне разумен», — сказанными на соборе 1613 г., за которые и поплатился в будущем отстранением от всех значимых дел: сам он выступал за кандидатуру Карла Филиппа. То, что предложен на царство был малолетний Михаил, а не уже известный и влиятельный Иван, и то, что последний был против данной кандидатуры, показывает, что Романовы как род на трон не призывались: на трон был именно избран конкретный представитель фамилии — Михаил Федорович, к этому моменту не являвшийся даже главой своей ветви рода.

То, что Романовы в последующем затвердили за собой право передавать престол в своем кругу, первоначально вообще было неким непрописанным произволом, подкреплявшимся той или иной формой подобия избрания. Действительное право на передачу престола закрепляется за ними уже не в силу выбора 1613 г. и не в силу традиции, а в силу того, что эта традиция оказалась превзойдена харизматической личностью Петра I. Романовы как цари всегда после Михаила были немножко самозванцы. И как только осознание этого обладателями престола теряется, как только они поворачиваются к антимодернизаторству — теряется связь с Петром и теряется освящающая власть императорская легитимность.

Поворот от Петра осуществляется Александром III. И он перестает быть Петровичем, он оказывается всего лишь Романовым, но ко всему прочему с мизерной долей собственно романовской крови. И он, и Николай II — уже не Петровичи, уже не Императоры, они просто Московские цари. 300-летие Дома потому и празднуется так пышно, что, перестав быть Петровичами, династия пытается утвердить себя как Романовых. Но, лишившись Петровичей (а последние крупные имперские военные победы, как и последние значимые расширения Империи, связаны как раз с тем, кого можно считать на деле последним русским императором, — Александром II), Россия уже не желала Романовых. Собственно, она не желала их уже более двухсот лет — с тех пор как пошла за Петром, а не за правившей Софьей и старшим царем Иваном V.

Перестав быть Петровичами, Романовы лишились своей спорной легитимности. Повернув от курса Петра I, Александр III, по сути, предрешил низложение Николая II. И в феврале 1917 г. ключевую роль в низложении Николая сыграет именно тот институт, который возводил на престолы Петровичей (начиная с самого основателя), — созданная Петром Великим Русская Гвардия. А еще через несколько месяцев, в январе 1918 г., петровский гвардейский Семеновский полк, как и другие гвардейские

полки, откажется признать претензии на власть Учредительного собрания и оставит ее за системой Советов.

Армия всегда была стержнем Российского государства. Но она всегда была и одной из наиболее прочных основ российской демократии. И для России иметь хорошую армию всегда оказывалось более актуально, чем иметь хорошую Конституцию. Армия восполняла отсутствие Конституции, выполняла определенную конституционную функцию: она была единственным государственным институтом, за которым по факту признавалось право на смену главы государства.

Если оказывалось, что Император переходит некоторые не прописанные за отсутствием Конституции, но предполагающиеся границы дозволенного, и общество узнавало что-либо на тему о внезапном апоплексическом ударе у самодержца, никто не только не протестовал, но и не проявлял сомнения в праве гвардейских полков решать участь царя, по словам историка С. М. Соловьева, в значительной степени обладавшего своей властью на правах «Князя Дружины»⁷¹.

Существует версия, согласно которой 1 марта 1881 г. (по старому стилю) Россия чуть было не обрела Конституцию. Согласно ей Александр II решил дать жизнь конституционному проекту Лорис-Меликова, подписанный им Указ уже лежал на столе, но именно в этот день, как известно, государь был казнен по приговору народовольцев. Из чего, кстати, подчас делается вывод, что на этот раз покушение удалось не потому, что после многочисленных попыток оно когда-нибудь должно было удалиться, а потому, что этого хотели противники данного проекта — в частности, среди силовых и охранных структур Российской империи...

⁷¹ Соловьев С. М. Падение Софии. Деятельность царя Петра до первого Азовского похода [Электронный ресурс] // История России с древнейших времен. — Т. 14. Гл. вторая. — URL: <https://azbyka.ru/> (дата обращения: 03.02.2023).

А могло получиться, что сегодня мы праздновали бы эту дату как День Конституции России. Не получилось. Зато теперь 2 марта по тому же старому стилю — День падения монархии в России. Потому что именно 2 марта 1917 г. внук казненного императора Александра Николай II в свою очередь отрекся от престола и тоже был казнен, правда, спустя полтора года. Причем как раз в 145-ю годовщину убийства своего предка — императора Петра III Федоровича. Перед отречением назначив на период до Учредительного собрания главой империи князя Г. Е. Львова, ставшего последним Рюриковичем во главе России.

Если так, если смерть Александра II затормозила принятие российской Конституции, то к ее принятию не привело первоначально и свержение Николая. Хотя отрекшийся вслед за ним Михаил отрекался в пользу Учредительного собрания, которое и должно было бы принять этот документ. Временное Правительство столь настойчиво пыталось отложить либо сорвать созыв последнего (хотя реально возможность его созыва существовала еще в мае 1917 г.), что собирать его пришлось свергнувшим это правительство большевикам, когда оно уже оказалось лишним колесом в системе Советов. Так что и Первую Конституцию пришлось принимать тоже им.

И все же до принятия Первой Российской Конституции власть русских самодержцев не была абсолютно неограниченной. Был общественно-государственный институт, который имел неформальные, но практически обществом признаваемые полномочия на смену носителей высшей власти. Это была армия. Точнее, императорская гвардия. И опять же есть некоторая ирония в том, что официальный День Советской армии приходится почти на те же дни, что и свержение монархии.

Гвардия Петра стала институтом сохранения его наследия. Наследие Петра было в духе прорыва и модернизаторства. И сам Петр всегда во многом был «народным царем», обладавшим не только легитимностью традиции, но легитимностью харизмы и народной поддержки, народным вождем.

Февральское восстание 1917 г. началось тоже 23 февраля, хотя и по старому стилю. В ходе его развития 27 февраля (ст. ст.) как раз лейб-гвардейские Волынский, Литовский и Преображенский восстали и, подняв красные знамена, свергли империю. Так что День Красной Армии вполне можно было бы учреждать не 23, а 27 февраля (или 12 марта по новому стилю).

За армией если не законом (они в России всегда были непрочны), то обычаем было признано право, говоря современным языком, осуществлять ротацию государственной власти. Петровские гвардейцы, встав на сторону Александра Меншикова, возвели на престол Екатерину Первую. Петровские гвардейцы свергли Бирона и передали власть регента Анне Леопольдовне. Петровские гвардейцы, признав моральный авторитет вышедшей к ним в гвардейском мундире «дщери Петровой», провозгласили ее русской императрицей. Гвардейцы низложили и казнили Петра III и возвели на престол Екатерину Великую. Когда ее завещание не было выполнено и аристократия вместо ее внука Александра возвела на трон Павла I, гвардейцы, по сути, выполнили ее посмертную волю, казнив Павла и короновав Александра I.

В 1825 г. гвардия впервые не сумела выполнить свою институциональную функцию и обеспечить исполнение завещания Александра I — передать корону Великому князю Константину, и власть получил Николай I. Именно с этого момента русская монархия медленно катилась к своей гибели. Но и на Сенатской площади гвардия не просто хотела привести на трон законного наследника, она уже требовала Конституции.

Кто знает, как сложилась бы судьба России, если бы она стала конституционной монархией с Основным законом, написанным Никитой Муравьевым. Или, по модели Пестеля, модернизирующей военно-демократической диктатурой. Гарантированной к исполнению волей гвардейских полков, состоявших из наиболее образованных представителей русского общества.

Гвардия в России была основным институтом гражданского общества. Она впитывала его интересы (агрегировала их) и их же артикулировала — при необходимости ударом штыка. Этот институт потерпел поражение и практически был сломан в 1825 г. На смену его роли пришла роль государственной бюрократии. Причем далеко не в самом лучшем виде.

Русская армия всегда во многом была народной армией, выражавшей, в силу своего состава, интересы основных классов русского общества. Потерпев поражение в выступлении 1825 г., она вернула свою роль через 90 лет, 27 февраля (12 марта) подняв красные знамена и открыв дорогу Русской Демократической Республике.

В октябре 1917 г. Императорский Павловский гвардейский полк во главе со своими офицерами опрокинул баррикады сторонников Керенского и взял Зимний дворец. В январе 1918 г. гвардейские полки (к этому моменту — бывшие гвардейские полки) отказались поддержать Учредительное собрание и признали власть ВЦИК и Советского Правительства.

Это нормально. Как показывает история, всегда и всюду демократия бывает и развивается, и во всяком случае побеждает там, где есть сильная боевая армия. Потому что в нормальной стране армия — это народ. А когда она есть, часть народа и состоит из его основных классов, — она, с одной стороны, выражает ожидания народа, а с другой стороны, является его вооруженной частью.

Что было высшей точкой развития римской демократии? Революция Мария-Цезаря, затянувшаяся на полвека, но закончившаяся передачей власти от аристократического Сената к императорам. Но кто такие те, старые императоры Рима, — это не монархи феодальной Европы, это армейские вожди, завоевавшие популярность своими победами. Кем была римская армия того времени — вооруженными свободными крестьянами. Тогда власть императоров была властью крестьянства. А императоры (получившие свои полномочия на время военного похода) —

чем-то вроде русских казачьих походных атаманов. Кто хочет узнать, чем была бы Россия, победы армии Разина или Пугачева, может взглянуть на Римскую империю I века до н. э. и I века н. э.

Мао Цзэдун однажды сказал: «Винтовка рождает власть». Он и сам не знал, насколько был прав, — можно вполне было бы сказать: «Винтовка рождает демократию». Когда-нибудь еще предстоит задуматься над местом конструктора Калашникова в судьбе мирового национально-освободительного движения.

Собственно, демократия и родилась в первую очередь в форме военной демократии: самоуправления способных носить оружие. Шведский демократический прорыв начала XX в. стал возможен благодаря реализации принципа: «Один швед — одна винтовка — один голос». Для чего американская Конституция закрепила право граждан свободно приобретать, хранить и носить оружие — чтобы гарантировать право на сопротивление угнетению, возможность создания народной милиции как единственной гарантии против тирании.

Армия в России практически никогда не была наемной. Она так или иначе всегда была вооруженной частью народа. Авторитет русских монархов строился на их статусе предводителя этой части народа и первого защитника страны. Когда они стали терять эту роль, они стали терять авторитет. Одна из основных причин делегитимизации власти Николая II, кроме всего прочего, — две подряд проигранные войны. И нерешенность крестьянского вопроса, т. е. вопроса, жизненно важного для основной части армии.

Страна, которая ведет много войн, должна иметь постоянный источник пополнения армии надежными солдатами. Такими могут быть только свободные люди. То есть успешно воевать может только страна относительно свободных людей, в которой в той или иной соответствующей историческому времени форме имеется демократия.

Страна, которая мало воюет и живет торговлей, особенно продажей своего более или менее простого продукта, в той или

иной форме закабальет население либо в той или иной форме утверждает рабство. Потому что больше, чем солдаты, ей нужны дешевые рабочие руки. Торговое общество открывает дорогу авторитаризму и бессмысленной растрате своих богатств. Воюющее общество открывает дорогу демократии и трате средств на развитие человека, поощрение искусства и образования. Сильная и часто воюющая армия всегда рождает свободолюбие и демократию.

Романовы начали свое царствование с преступления — садистского убийства младенца Ивана Дмитриевича, формально являвшегося малолетним царевичем. Был он Рюриковичем или не был, мы тоже знаем мало, как и о том, был ли Дмитрий Лжедмитрием или сыном Ивана Грозного — Дмитрием Ивановичем Рюриковичем. То есть исключительно со слов того предания, которое продиктовали получившие власть Романовы. Кстати, сами Романовы были как раз сторонниками партии «Тушинского вора»: Федор Никитич Романов, Патриарх Филарет, был провозглашен Патриархом именно волей Лжедмитрия II, именовался последним «братом» и был одним из ведущих соратников. А в Думе Лжедмитрия влиятельны были родственники и сторонники Романовых, да и сами Романовы никогда с последним не боролись. И победа сторонников Михаила на Земском соборе была не победой представителей Ополчения, а победой этой тушинской партии. Дело в том, что после длительных споров и заседаний Собор отказался избирать царем Михаила Романова, если тот не явится на заседание Собора и не выступит на нем. Другие кандидатуры тоже не получили большинства, и было принято решение делегатам Собора разъехаться по землям и «держатъ совет» с народом. Москва в этот момент была переполнена среди прочего казацкими отрядами, ранее составлявшими ударную силу Тушинского Дмитрия, которые рассматривали Романовых как «свою», «народную» партию, — и казаки восстали, ворвались в палаты бояр и делегатов Собора, потребовав отменить прежнее решение, собрать

экстренное заседание и под угрозой казацких сабель и ружей провозгласить царем малолетнего Михаила.

Династия Романовых окончательно пала в феврале 1917 г. Династия Петровичей, как это ни покажется парадоксальным, через полгода вернулась к власти. Не в лице кровных представителей рода — что именно для нее, как свидетельствует пример Екатерины Великой, было малозначимо: важна была преемственность Духа, Воли и Дела.

Новая традиция — традиция харизматичности и модернизаторства, Традиция Великого Дела, Великого Прорыва и ключевой мировой роли — была возрождена коллективными Петровичами, которыми по факту истории стали большевики как прямые политические потомки «Дела Петра».

Неверно говорить, что в результате Первой мировой войны пали четыре империи. Пали три, сражавшиеся против России: Германская, Австро-Венгерская и Османская. Россия не пала, она лишь сменила форму правления. И, сменив форму правления и династию, сменив вновь Романовых на Петровичей, закончила войну не временной капитуляцией Брестского договора, разорванного ею уже спустя полгода, а победным договором в Рапалло. И затем, продолжив «Дело Петра», стала доминирующим в мире началом, наследием которого до сих пор живет зависящая между временами, традициями и идеями, но пытающаяся сопротивляться и подняться постсоветская Россия.

5.3. Проблема расширенного наследования

Комплекс противоречий, сложившийся в СССР к 1980-м гг., мог быть разрешен, если бы у субъекта действия была способность к этому разрешению — т. е. способность к преобразованию утвердившейся проектной реальности — без деформации и разрушения самой лежащей в его основе идеальной проектности.

То есть если бы субъект действия был сопоставим и подобен тому субъекту альтернативности, который данное альтер-

нативное конструирование создал и реализовал в начале XX в. Он не мог бы быть тем же по составу в силу физиологических причин, но он оказался лишен имевшихся в прошлом качеств, состоял, как говорилось выше, из «оруженосцев оруженосцев». Темпераментные свойства этого субъекта, как разбира-лось выше, предопределяли его инструктивность, массивность, неприятие инновационности, неготовность к созидательному радикализму.

Не произошло сущностного наследования той альтернативной субъектности, которая сумела сохранить и преобразовать страну в своем альтернативном проекте 100 лет назад.

Формально и ценности, и цели, т. е. и латентные образцы, и целеполагание оставались прежними, но способность превра-щать их в конструкты действия исчезла.

Можно отдельно ставить вопрос о том, были ли эти де-кларации истинными либо стали данью привычке и риториче-ской традиции. Ответ о «двоемыслии» и политической мими-крии представляется упрощенным. Вообще, обычно обвинение в двоемыслии выдвигается теми, кто внутренне не способен принять и понять смысловую преданность другого неким более сложным конструктам, чем «круг бытования» носителя поли-тической культуры параойхиальности. Носитель «параойкоса» в любом предполагаемом партиципанте видит в лучшем случае субъектность подданного, следующего либо целеполаганию ка-рьеризма, либо мимикрии.

В данном случае все заключается в природе параойхиаль-ности, имеющей ценности и установки принятия законченности мира как неодолимой силы, обстоятельства которой не могут быть изменены, а при повышенной степени их воспринимае-мой чуждости лишь скептицизированы. В этом отношении скептицизация, т. е. желчная социально-поведенческая сарка-стичность, — некоторое свойство актора, осознающего свою слабость и подчиненность в рамках существующей реальности, но не обладающего ни интеллектуальным, ни поведенческим, ни

деятельностным потенциалом для какой-либо меры практического действия по изменению действительности.

Отвергая в язвительности доминирование над ним обстоятельств реальности, актер подобного рода пытается компенсировать свое чувство подчиненности, пытается себе самому предстать партиципантом, которого он не понимает в его качестве деятельности, но который в приписываемом ему двоемыслии воспринимается актором язвительности как недоступный и более высокий.

Этот вопрос интересен, но несколько отходит от темы исследования, хотя и заслуживает отдельного рассмотрения. Более в данном случае значим другой, недоступный сознанию параойхиального скептицизма. Более того, если преданность некому проекту видеть как единство знаний, убеждений и действия, что представляется вполне обоснованным, мы можем наблюдать ситуацию, при которой актер знает, что хорошо и должно, более того — убежден в том, что это и хорошо, и должно, и что оно должно быть воплощено в действии, но действовать в соответствии со своими знаниями и убеждениями не готов.

То есть он как актер, даже обретая формальные черты субъекта и субъективированной альтернативности, наследует от прошлого и от этой альтернативности и ценности, и цели, и способности к интеграции, и способности к адаптации, но не наследует нечто с этим связанное, но завершающее его субъективированную альтернативность.

Представляется, такая дисфункция, свойственная социально-политическому субъекту позднего советского проекта, связана с не вполне точным пониманием ценностности. Здесь речь идет именно о ценностности, а не о ценностях. Понятие ценностей во многом остается метафоричным и интуитивно понятным, но в полной мере неопределенным. В обобщенном виде можно сказать, что ценность — это некое значимое начало, более важное для человека, чем его жизнь и смерть. Разумеется, это крайнее положение вещей, но именно ограничение его та-

ким образом очерчивает его определенность, его идентифицирующую границу. А дальше возникают те или иные узлы меры, в данном случае не только как узлы внешней и внутренней определенности, но как некое сопоставление: признаваемое ценным является ценным в соотношении с чем. То есть что оказывается менее значимо декларируемой ценности, а что — более.

У Стругацких есть замечательная мысль: человек, чтобы на деле остаться человеком, должен постоянно бороться с сидящей в нем обезьяной. Мешающей работать, творить, жить большим, чем нега, лень, веления желудка и комфорта.

Позднесоветский субъект во многом — это как раз те, кто от этой борьбы отказался. Те, для кого все вышеперечисленное — самое важное. Жизнь как биологическое существование. Без идей и самопожертвования. Без напряжения. Главное, что они не принимают и ненавидят — это стремление к героизму, к творению нового мира, к творчеству. Готовность к самопожертвованию и готовность бросить вызов Старому миру и взяться за строительство Нового.

Человек — это его борьба с сидящей в нем обезьяной.

Обезьяна в человеке — стояние на четвереньках. Отсюда — зависть к тем, кто, выпрямившись, стоит на ногах, и уверение, что стоять выпрямившись можно только на костылях. Соответственно, декларация о стоянии «на своих ногах» со стороны того, кто не допускает, что можно на них стоять выпрямившись без костылей, — это агрессивное требование всем стоять на четвереньках.

И вот здесь мы находим момент уже не только ценности, но ценностности. Функция воспроизводства базовых латентных образцов часто понимается как функция воспроизводства ценностей, но это неточно: она производит политическую культуру социума, в которой ценность есть только отправной момент, важен ее процесс активации, состояние, становящееся ценностностью, т. е. готовность и навык действовать, меняя мир, утверждая свою базовую ценность.

Политическая культура, создаваемая в обществе и передаваемая в позитивном наследии, включает в себя отношение и оценку мира как совершенного либо требующего изменения отношение к сохранению или разрушению тех или иных ценностей, сохранение или утрату человечности самим действующим субъектом.

Но, кроме этого, она включает алгоритмы и навыки преобразующей деятельности, формируемые как в отношении идеально созданных образцов, так и на основе наследуемых либо приобретенных практик.

Большевики смогли наследовать петровские преобразующие алгоритмы по ряду причин: во-первых, в самой официальной традиции образ Петра как строителя и преобразователя носил «пантеонный характер» и транслировался официальной политической доктриной. Во-вторых, они опирались на опыт и российского, и международного рабочего движения, насыщенного преобразующими интенциями. В-третьих, были интеллектуальными носителями транснациональной доктрины, предполагавшей масштабное преобразование окружающего мира. Они были носителями радикальных позитивно-преобразующих созидательных и производственных практик.

Их официальные наследники 1980-х гг., даже искренне наследуя ценностно-целевую основу, были связаны не с преобразующими, а с сохраняющими, поддерживающими практиками, формировались в условиях спонтанно-равномерной деятельности и не представляли себе с некоторых пор мир как подлежащий и поддающийся масштабному преобразованию.

Здесь есть еще один существенный момент. С большой степенью обоснованности можно предположить, что социально-преобразующие практики политической субъектности того или иного социально-профессионального слоя воспроизводят основные форматы и алгоритмы его профессиональной деятельности.

Если ограничить рассмотрение четырьмя основными субъектами, принимающими участие в масштабных политиче-

ских процессах: крестьянство, буржуазия, рабочий класс, интеллигенция (с ее производственно-деятельностной, инженерной частью) — их алгоритмы деятельности можно описать следующими форматами.

Крестьянство: «что сейчас нужно делать» — пахать, сеять, собирать, — т.е. цепочка законченных действий, разделенных процессом ожидания, разделенные действия.

Буржуазия: «Как это можно выгодно использовать» — плыть за товаром, скупать, продавать, строить завод и извлекать прибыль, — длящийся процесс, в самой своей протяженности доставляющий выгоду.

Рабочий класс в его промышленной ипостаси: «Как это можно и нужно изменить» — выполнить конкретизированное задание по четко сформулированным параметрам, получить чертеж, по нему выточить деталь, собрать единый механизм, — заверченный преобразующий процесс, требующий идеально созданного наглядного образца, чертежа.

Интеллигенция в своей созидательной части: «Кто виноват, что делать, с чего начать», — поиск и формулировка ответа на интеллектуально-идеальном уровне, когда важным оказывается не преобразование, а создание идеальной картины преобразованного некоего чертежа, после чего наступает удовлетворение.

В политических движениях этих субъектов можно увидеть черты воспроизведения их основных жизненно-профессиональных практик.

Крестьянство: акт массового противления, уничтожение непосредственного воплощения противника, удовлетворение и демобилизация. Причем без достижения результата преобразования неустраивающей реальности.

Буржуазия: процесс адаптации действительности под параметры, позволяющие ее использовать. Неустраивающая действительность воспринимается как нефетишизируемая форма: английскую монархию удалось использовать, сделав формой власти нового социально-производственного субъекта — она была

буржуазией сохранена, французскую в итоге восьмидесятилетних экспериментов, двух империй и двух королевских династий не удалось — и буржуазия, поэкспериментировав, ее выбросила.

Интеллигенция в своей политической деятельности создавала альтернативные проекты, жестоко спорила, ее представители эпатировали и предпринимали радикальные акты (но акты, а не действия по радикальному преобразованию), и либо сходили со сцены, либо примирались с новой действительностью, мало напоминавшей созданные ими идеальные образцы.

Рабочий класс, приняв и получив созданную обычно интеллигенцией альтернативную идеальную конструкцию, чертеж и техзадание на действие, само действие по преобразованию реальности разворачивал как промышленное производство. Сметая со своего пути все, что чертежу противоречило, придавал действию масштабность крупного машинного производства, выводя его за национальные рамки точно так же, как его контрагент буржуазия организовывала вывоз промышленных товаров на мировые рынки.

Многие нюансы подобной конструкции дают возможность для отдельного и, как представляется, перспективного рассмотрения, но в данном случае важно несколько другое: наследуемый конструкт действия требует воспроизведения производимого деятельностного отношения к миру и идеальному конструкту, но сам он питается принятыми и воспроизводимыми им производственными практиками, закрепляющими ментально наследуемое.

Правда, встает вопрос, какой оказывается судьба наследования в ситуации, когда наследуемый конструкт будущего, принятый из прошлого, накладывается на вред и реальность, в которой утверждены уже иные производственные практики, т. е. нет начал, деятельностно закрепляющих алгоритмы деятельности утверждения ценностей и ценностностей перспективных конструктов наследуемого будущего.

Однако в этом-то и дело, что простое воспроизведение идеалов прошлого как минимум неконструктивно: для них нет

деятельностного материала и они могут быть воспроизведены лишь в имитационном плане. Вопрос в том, что создаваемое идеальное альтернативное конструирование при своей завершенности обладает опережающим характером. И в этом отношении оно подчас не сбывается в прошлом, потому что создано им для будущего: подчас Утопию и называют преждевременно открытой истиной.

То есть речь идет и о том, что настоящее частично является незавершенным будущим прошлого, и о том, что для того, чтобы понять проблемы настоящего, нужно наследовать те идеальные конструкты, результатом незавершенности которых является настоящее, подчас оказывающееся лишь полуфабрикатом наследуемого от прошлого будущего.

5.4. Наследование опережения прошлого

Сама по себе фантастика — вымысел, выходящий за пределы реальности. Научная фантастика — художественное допущение, не выходящее за пределы известных научных данных. То есть идеальное альтернативное конструирование, в том числе политического пространства. Обращенное в будущее, оно становилось, наряду с футурологией, прогнозированием, утопией и антиутопией, одной из форм исследования будущего, тех политических, социальных и этических проблем, которые оказывались характерны для будущего состояния общества, — художественной футурологией.

Советская научная фантастика, рожденная в рамках созреваания и реализации глобального проекта создания Будущего, начиная с «Красной звезды» А. Богданова и «Аэлиты» А. Толстого, всегда тяготела к анализу вероятностного будущего, и в своих классических формах 1950–1970-х гг. превратилась в классическую художественную футурологию, в первую очередь связанную с именами А. Казанцева, И. Ефремова, А. и Б. Стругацких, предложивших яркие политико-философские видения и идеаль-

ных конструктов будущего, и препятствий на пути движения к нему, и его неизбежной противоречивости, — потому что все способное к жизни и развитию несет в себе свои внутренние противоречия.

И они же предупредили, что если ты испугаешься движения в это будущее, то будешь обречен всю оставшуюся жизнь томиться в лабиринтах «Миров Обреченных»: «И сказали мне, что дорога эта ведет к Океану Смерти, и я убоился и повернул обратно. И с тех пор стелются передо мной глухие, кривые, окольные тропы».

И если социум испугается Великих Проектов и предпочтет сытое благополучие трудностям Созидания, то не получит ни Великого Будущего, ни сытой жизни и будет обречен на прозябание, которое они описали уже полвека назад:

Страна, которая раньше была значительно обширнее, но приведена к катастрофе выродившейся элитой, потерпевшая поражение и пытающаяся сохранить порядок на границах, изнутри пораженная нехваткой врачей, учителей и инфляцией.

Веривший в свою страну герой, у которого, из благих побуждений его освобождения, отняли все, что он ценил в жизни.

«Сталкеры», собирающие и продающие то, что осталось от ненадолго посетившей Землю Великой Цивилизации, торгующие случайно доставшимся им наследством, происхождения которого они не могут понять.

Общество, лишённое идеологии, не знающее смысла и целей своего существования, и вывод об обреченности общества без идеологии, стали предвидением многих проблем последующего, предвидением трагедии, которая постигает общество, отказавшееся от своих ценностей и стратегических целей.

Страна, уничтожающая свою культуру, где знание большего, чем необходимо для составления счета за товар, стало предосудительным.

Страна, подведенная к катастрофе представителями чужой цивилизации, которые теперь под видом спасения вымани-

вают и увозят к себе ее детей и всех, кто сохраняет способность к рациональному действию.

Они обо всем предупредили... Они показали, чем люди могут стать, если не испугаются работы и напряжения, и предупредили, чем они станут, если этого испугаются.

Но до конца продолжали верить, что страна вернется на свой начатый некогда Путь Восхождения.

5.5. Мобилизация как наследование и наследование как целеполагание

Кризис и военное противостояние с западной коалицией на Украине, как и вызов пандемии, при всей своей трагичности — совсем не главное, что требует от России мобилизации. Точнее, и ее тоже требуют и демонстрируют, что крупные вызовы и угрозы может нивелировать только система, способная к мобилизации: просто потому что на вызовы, выходящие за рамки повседневности, можно отвечать только выходя за рамки повседневности.

Но требование перехода к мобилизационному развитию для России вызвано в первую очередь не этим, а тем общим состоянием, в котором она находится. Разрушение страны в результате перестройки и внедрения механизмов рынка дало одно — общее колоссальное отставание в развитии от других стран. На точечных участках уровень поддерживать удастся, в целом Россия не восстановила не то что производственные мощности СССР, но и РСФСР 1990 г.

При этом территория огромна, ресурсы огромны, а желающих их использовать более чем достаточно. Общий выбор — либо нужно ликвидировать отставание, либо согласиться на роль добычи более сильных. Чтобы ликвидировать отставание, нужно развиваться быстрее, чем более сильные конкуренты. По счастью, они в последние четверть века и сами не очень быстро развиваются. Но России для ликвидации трехвекового отставания нужно развиваться в несколько раз быстрее.

То есть нужно ускоренное прорывное развитие. Для подобного развития нужны три начала: цель, напряжение, мобилизация. Как было в советской классике: «Что нужно, чтобы проходить сквозь стены? Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий».

Но мобилизация — это не готовность строиться по команде. Это готовность к действию, в котором должны быть понятны его цели, характер и этапы. И доверие лидерам, которые направляют этот прорыв, и способность самих лидеров понять и осознать, куда они хотят направить развитие страны.

То есть вопрос в целях и смыслах. И вопрос в способности социума осознать себя преобразующим субъектом, в наличии у него ощущения себя как некоего абсолюта, способного свершать невозможное и творить мир.

Нужно ощущение идеала и веры в свои силы. Ощущение себя как решающего начала действия.

И этого нельзя добиться, если социум ощущает себя неким производным, подчиненным: либо власти, либо богу и религии.

Тут очень важно, что принимается за абсолют: Человек (общество), Государь (власть) или Бог (церковь).

Задачи сохранения целостности можно решать через идентификацию и восприятие абсолюта как Государя. Задачи сохранения ценности — через идентификацию и восприятие абсолюта как Бога. Возможно их комбинированное сочетание. Но задачи Преобразования мира можно решать только через ощущение абсолюта как Человека. Разумеется, понимая Человека в его антрополого-оптимистической трактовке, сущностью которого является восхождение развития, творчество и созидание, а не эгоизм, комфорт и гедонистическое потребление.

Всей истории человеческого политического сознания был свойственен поиск лучшего, который смог реализоваться только в Новое время, с утверждением веры в человека и его возможности. В полной мере эта вера в могущество человека утверждает-

ся только и с развитием соответствующей естественнонаучной и социально-философской базы при создании соответствующих социально-политических условий, что и произошло в России 100 лет назад.

Было достигнуто единство социально-политического курса власти, общественных настроений и ожиданий, ярких впечатляющих образов целеполагания и целедостижения.

У социума родилось романтическое представление о собственной абсолютности, призванной изменить мир в соответствии с выявленным в нем идеалом. Пока это представление сохранялось, СССР был лидером мирового развития. Когда ко второй половине 1960-х гг. оно было замещено идеей благополучия и зажиточности, а идея Преобразования Мира была заменена идеей Сверхдержавности, СССР стал постепенно замедлять развитие, демобилизоваться, доведя свою демобилизацию до апогея к 1990-м гг.

Среди прочего, почему КПСС утратила легитимность, и страна, которую она десятилетиями вела к победам, не вышла на баррикады под транспарантами «Партия или Смерть!»? Потому что демобилизовалась сама партия.

И часть ее руководства сама провозгласила курс на демобилизацию. А другая часть, интуитивно понимая порочность курса, также оказалась не способна к мобилизации, равно как не нашла в своей среде ни одного человека из имевших доступ к Горбачеву, который взял бы на себя смелость на действие ликвидации порочного звена системы.

Для мобилизации нужен лидер, знающий цель и последовательность действий, способный взять на себя ответственность за все, что берет на свою совесть, нужен план действий и понимание объема и возможностей распределения ресурсов на те или иные цели каждого последующего этапа действий.

И для мобилизации необходимо ощущение социума как свободного и всевластного в своих отношениях с миром, воспринимаемых как объект преобразования.

И мобилизация невозможна либо бессцельна, если социум рассматривает себя не как абсолют, а как начало, подчиненное иным началам: что концепту «Правового государства», что концепту «Божественного», — просто потому, что тогда этот социум признает себя подвластным и ограниченным в своем креативном акте созидания.

И тем более продуктивная проектная мобилизация нереализуема в обществе, которое наложило на себя удвоение этих ограничений, соединив идею Правового государства с идеей Божественного. Например, записала упоминание Бога в собственную Конституцию, принизив и одно, и другое: идею Бога принизив до ее утверждения в человеческом законе, а идею Конституции как рационального-правового начала переведя в плоскость трансцендентного.

То есть нельзя одновременно сохранять веру в Божественное как Абсолют и объявлять Абсолютом самого себя.

Верящий в Бога способен на подвиг сохранения и защиты своей веры и извне детерминированной данности, но не способен к подвигу ответа на вызов преобразования мира.

То есть сегодняшняя Россия к мобилизации созидания не готова и не способна. Она не имеет целей создания Нового, не имеет проекта Будущего, не имеет элиты, готовой повести на созидание. И не имеет конструктов и образов того Нового Мира, в котором она хотела бы жить.

То есть центральный вопрос ее наследования — наследование тех черт и свойств, которые делали ее в прошлом способной к мобилизации.

5.6. Ценности, смыслы и Барьер Синед Роба

В политико-философских конструктах Ивана Ефремова существует, среди прочего, понятие «Барьера Синед Роба», суть которого в том, что если цивилизация достигает высокотехнологического уровня развития, позволяющего, в частности, выйти

в космос, до достижения уровня Общества Познания и Созидания, она с неизбежностью самоуничтожается.

На первый взгляд, **политика памяти** — это вопрос об отношении к прошлому. Но в не меньшей степени это вопрос об отношении к будущему. И не только в простой его постановке: «Без прошлого нет будущего. Нельзя идти в будущее, не сделав выводов из прошлого».

Это как говорится в культовом фильме: «Всемирно известно и никому неинтересно», хотя в значительной степени и правильно.

При этом оно и правильно, но в расчет принимается далеко не всегда. И в каждую эпоху находится немало политических фигур, которые твердо уверены, что то, что они намереваются сделать, придумали они сами. А если история советует этого не делать, как наивная девушка полагают, что это только у других данный замысел всегда приводил к провалу, а уж у них-то наверняка удастся.

Но в данном случае дело в другом. В том, чтобы **помнить о будущем**.

В первую очередь о том, что жизнь не заканчивается сегодня — и будет еще и завтра.

О том, что завтра придется платить за сегодня — но и о том, что завтра тебе придется что-то оставлять тем, кто придет следом.

О том, что будущее не появляется само по себе, а хочешь ты или не хочешь — ты создаешь его сегодня своими действиями.

О том, что, создавая его сегодня, нужно думать, каким ты его хочешь увидеть в итоге.

То есть в отношении будущего **политика памяти** включает в себя и память об ответственности перед **завтра**, и память о том, какие варианты будущего существуют.

И существует ли такая память или нет, прежде всего характеризуется тем, в каком фокусе сосредоточиваются общественные дискуссии: на том, как оценивать прошлое, или на том, как и что создавать в будущем.

Похоже, что со времен 1970-х гг., когда социально-политическая мысль, в том числе на Западе, создала многоцветие букетов футурологических концепций, ситуация в интеллектуальной сфере изменилась настолько, что вопрос будущего как прогнозируемой и тем более конструируемой категории оказался устранен из фокуса общественного влияния.

Западная мысль остановилась на умирающей дискуссии о том, закончилась история или все еще нет. Причем практически отсутствуют отнесенные в будущее видения реальности как альтернативной сегодняшнему положению дел.

В той же степени, в которой они сосуществуют, это либо некие средне- и ближнесрочные катастрофические прогнозы, либо отнесение к будущему ремейков давнего прошлого, связанные с возвращением тех или иных вариантов Средневековья и даже Раннего Средневековья, причем не в качестве предупреждения об угрозе, а в качестве рекомендуемого желаемого устройства.

В России в этом отношении вопрос о будущем развитии еще во второй половине 1980-х гг. оказался тотально подменен спорами о прошлом. Причем любая попытка найти и предложить варианты управляемого развития, движения в будущее на основании масштабных проектных подходов вызывает подозрение или сознательно обвиняется в возрождении тоталитаризма.

Отчасти основа этого почти сознательного стремления части интеллектуального класса любыми путями не допустить создания масштабных проектов будущего, а тем более развития на их основе, имеет своей основой патологическое стремление определенных элитных групп исключить из даже гипотетического пространства любой намек на необходимость напряжения, необходимость мобилизации, необходимость целенаправленного действия. Собственно, нелепое и несовременное представление о развитии на основе действия «незримой руки рынка» — это как раз мечта о таком движении, где элите не приходится ничего делать: все совершается само собой, на основе саморегулирова-

ния, без вмешательства самой этой элиты, за которой остается лишь «право жить», т. е. наслаждаться преимуществами и комфортом сегодняшнего привилегированного положения. Будущее при таком положении видится исключительно как сохранение в нем настоящего, сохранение собственного комфорта и привилегий. Как таковое «сегодня» не видится как требующее альтернативы, а потому будущее, как возможная альтернатива, предполагается ненужным и вредным.

Отсюда снисходительно-презрительное отношение к тому, что объявляется «утопиями», где последние трактуются не в их начальном смысле — «то, чего пока нет, но что может быть», а в привнесенном и ложном — «то, чего нет и быть не может».

Собственно, все атаки на российское прошлое есть атаки на то в нем, что несло черты целеустремленного и волевого созидания новой реальности, движения в будущее. Суть этих атак — попытаться продемонстрировать, что все устремления вперед ни к чему хорошему не приводили, смоделировать и навязать вывод о том, что главный урок отечественной истории — не стремиться к лучшему, а довольствоваться имеющимся. В этом плане можно сказать, что в определенного типа сегменте интеллектуального класса России вполне утвердился базовый алгоритм бесчеловечной теории Карла Поппера, суть которой в том, что никогда не нужно стремиться к лучшему: стремясь к нему, ты вовлекаешься в действие, которое так или иначе ограничивает твою свободу. Раб, восстающий против своего рабства, становится, по мысли этого мрачного философа, зависимым от предводителя восставших. И потому лучше ограничиться своей похлебкой и цепью, оставшись таким образом «свободным».

И вчера, и сегодня известная часть интеллектуального класса страны ненавидит и ненавидела Сталина не потому, что сочувствовала тем, кого представляла в качестве «жертв массовых репрессий», а потому, что больше любых гипотетических репрессий боялась любого общественного устройства, в котором так или иначе придется нести ответственность за то, чем зани-

маешься, но еще больше — того, что придется работать так, как при том же историческом персонаже работала элита, — уходя домой в три утра и к девяти возвращаясь на работу. То есть боялась напряжения как такового.

Перенесение же фокуса общественных дискуссий в зону прошлого при замене ими дискуссий о будущем позволяло закрыть вопрос о создании будущего как продукта целеустремленной и напряженной деятельности человека.

Дело не в том, чтобы не думать о прошлом. Дело в том, чтобы, думая о нем, не забывать о будущем. То есть думать о прошлом с точки зрения обеспечения движения в будущее, причем управляемого и проектного движения в будущее.

При этом бесспорно, постановка вопроса о том «Какое будущее мы хотим создать» почти невозможна и крайне сложна без ответа на вопрос: «А мы — это кто?». То есть без решения вопроса о самоидентификации и собственной идентичности. То есть без споров об истории.

Но, с одной стороны, в этом историческом соотношении всегда есть и дилемма преемственности — между идентификацией себя в формуле: «Мы те, и продолжатели тех, кто всегда мечтал о будущем и стремился к созданию новых форм своей жизни», и идентификацией себя в определении: «Мы те, кто всегда чуждался этих новых форм и противостоял им»...

И с этой стороны приходится отвечать на вопрос, в чем большее основание национальной самоидентификации: в колоколах на колокольнях или в пушках победоносной петровской армии, выплавленных из этих колоколов...

Если в одно историческое время сносят церкви, но строят гиганты индустрии и отправляют в полет космические корабли, а в другое — строят на местах тех же церквей новоделы или даже восстанавливают остатки этих церквей, но топят свою космическую станцию и превращают в аттракцион свой самый совершенный космический корабль, — какое из этих времен стоит его продления в будущем...

Политика памяти прошлого безмерно важна, в частности для того, чтобы ответить — кто мы были и кто мы есть.

Но **политика памяти будущего** важна еще более. Во-первых, чтобы ответить, **какими мы хотим быть и какими мы станем**. А во-вторых, чтобы осмыслить, **в какие исторические периоды мы были созидателями, демиургами будущего, а в какие — отрекались как от своего будущего, так и от своего качества демиургов**.

И главный вопрос политики памяти о прошлом и даже всей политики исторического просвещения — это сохранение и возрождение сохраненной им памяти о стремлении в будущее.

Есть две цивилизационные задачи: переход к постиндустриальному производству и создание системы, скажем так, социальной демократии при доминирующей власти тех, кто является носителем обеспечивающего это производство труда. Чтобы все это создать, нужно поменять экономику, реорганизовать производство и создать новую систему власти, т. е. изменить производственные отношения, производительные силы и политическую организацию общества. Строго говоря, именно это и называется революцией.

Но когда речь идет о необходимости революции, речь идет не об этом слове и разрушении. Теоретически это вообще необязательно. Речь идет о необходимости строительства, созидания. Когда говорится о необходимости революции, говорится о необходимости созидания и строительства. Свержение, разрушение, подавление, слом и прочее тому подобное не есть продукт революции как таковой: это результат сопротивления тех, кто не хочет строить и создавать, кому это невыгодно. В принципе, можно (более того, желательно) и вполне реально обходиться без этого. Советский период значим не тем, что восстановил Старую Империю, а тем, что создал еще более мощную Новую Империю: взяв достижения прежней, он качественно изменил внутренние основания, сделав ими не Постоянство, но Прорыв.

Кризис последней наступил именно тогда, когда она попыталась формы, созданные для Прорыва, заполнить основаниями Постоянства: это все равно что сначала пересечь из телеги на велосипед, а потом перестать крутить педали, решив отдохнуть, как в телеге. С одной стороны, вершину русской истории противопоставляли **фундаменту этой вершины (раскол по исторической вертикали)**, с другой — **многонациональные составляющие этой вершине противопоставили ее национальному (раскол по горизонтали)**.

Когда-то основные достижения советского общества описывали как перечисление свершений: коллективизация, индустриализация, культурная революция, победа в Великой Отечественной войне, целина, космос, мощная промышленность, опережающее развитие науки, бесплатное здравоохранение, всеобщее образование, на мировом уровне признанные достижения культуры и искусства, уверенность в завтрашнем дне, растущее материальное благосостояние, отсутствие безработицы, плановое ведение хозяйства.

На самом деле без всего этого идти вперед действительно нельзя. Даже без планового хозяйства: чего стоит рыночное — можно увидеть на примере истории российской экономики последней четверти века и четырех кризисов: 1992, 1998, 2008, 2014, 2020 гг. А еще на примере перманентного кризиса мировой экономики, судьбы Греции, Италии, Испании, Португалии.

По недавно полученным данным Левада-Центра, 55 % граждан называют лучшей экономической системой «ту, которая основана на государственном планировании и распределении», и лишь 27 % — «ту, в основе которой лежат частная собственность и рыночные отношения».

Но все это относительно вторично. Наука, политическая организация, промышленность, социальная сфера, военная мощь, атом и космос — все это несомненные и вместе с тем во многом растраченные, разрушенные, по дешевке распроданные сокровища советской эпохи.

Но именно сокровища! Маркс в свое время резко разделял и в чем-то противопоставлял сокровища капиталу. Сокровища — это накопленные богатства, которые можно либо хранить, либо тратить, но они конечны. Капитал — это самовозрастающая стоимость. Это то, что производит богатства и в своем функционировании постоянно расширенно их воспроизводит.

Брать с собой сокровища советской эпохи — то из них, что сохранено или может быть восстановлено, — конечно, нужно. Но недостаточно, потому что нужно брать капитал. То есть то, что постоянно толкало СССР к развитию, сделало ведущей державой мира и заставляло элиту США быть обреченно уверенной в том, что ее соревнование с Союзом обречено на поражение, — до тех пор, пока, к ее изумлению, его новые лидеры сами не отказались от соревнования и решили капитулировать, заодно поделив созданные сокровища и отрекшись от создавшего их капитала.

И здесь опять возникает вопрос о том, что есть капитал советского периода. То есть о том, что качественно отличало советско-революционный период от досоветского. Если использовать модную патриотическую терминологию — в чем коренное отличие Красной империи от Белой.

Дореволюционная Россия была традиционным обществом, обществом постоянства, которое время от времени прерывали стремительные рывки, иначе оно вообще не смогло бы угнаться за временем, но в целом это было господство традиции (а до петровского прорыва — общество обычая).

1917 год – точнее, октябрь 1917 г. стал рубежом перехода и России, и мира к обществу прорыва. Начало создаваться общество Фронта, общество Познания и Созидания.

Прежде мир воспринимался как в основном неизменный, в котором человек принимает его как данность и к нему приспособливается. Советский период — это состояние, когда мир рассматривается как в основном изменяемый, подвластный человеку, но изменяемый не произвольно, как это было сделано

после 1985 г., а на основании законов окружающего мира. Но изменяемый — и это главное.

Отсюда суть советского периода, тот его капитал, который все время толкал его вперед, — это новое мироощущение, ощущение способности менять мир, если существующий мир не самый лучший из миров, и принимать вызов, согласившись на построение Нового Мира и нового общества.

И одним из ядер этого ощущения является укоренение постулата о том, что потребление — не главное. Это — средство: главное — это созидание. Не созидание — средство для потребления, а потребление — средство для созидания. Мир изменяем, а познавать, творить и созидать интереснее и важнее, чем потреблять. Это центральный пункт советского наследия и советского мира.

О чем угодно можно спорить, но нужно определять узловые точки, когда приходится признать: так — не получается, поэтому от не оправдавших себя одних инструментов переходим к другим, альтернативным. Если период с 1961 г. по 1986 оказался более успешным, чем период с 1987 по 2012, значит методы первого периода более эффективны, чем методы второго.

Думать, что другие страны и транснациональные корпорации будут давать деньги на то, чтобы Россия становилась в XXI в. технотронной капиталистической сверхдержавой, — все равно что рассуждать о возможности турецкого султана стать римским папой: им это не нужно и им это опасно. Если они и будут давать на что-то деньги, то только на то, чтобы она ею не стала. Значит, решать свои задачи нужно ей самой.

Сосредоточить средства на ключевых направлениях. Отработать технологии. Создать определяющие будущее технологическое наступление ключевые плацдармы. Прорваться и закрепиться на них — и подтягивать отстающие отрасли. Честно сказать людям о целях — и признать, что это будет нелегко. И идти вперед, каждую неделю публично говоря о том, что удалось, а что не удалось. И что помешало.

Вопрос прагматики. Создать свободное общество можно, только создав экономику свободного общества на пути технократического прорыва. Технократический прорыв в полной мере возможен только при опоре на готовность человека открывать, изучать, конструировать, строить.

5.7. Второе наследование

Вопрос индустриализации сегодня — это не вопрос возвращения к индустрии 1930–1950 гг. Тем более не вопрос возвращения индустрии XVIII в. Это вопрос реиндустриализации, т. е. восстановления индустриально-созидательного потенциала страны, обеспечивающего ее самодостаточно-возрастающее развитие.

Классическая индустриальная цивилизация предполагала, что основная часть рабочей силы страны сосредоточивается в индустрии, меньшая — в сельхозпроизводстве. И остаточная — в сфере производства знания.

Приходящая ей на смену постиндустриальная цивилизация предполагает, что в индустрии остается порядка 10 % работающих, в сельском хозяйстве — 1–2 % работающих, а остальные — в «сферах постиндустриального производства».

И здесь возникают как минимум две проблемы. Одна — проблема существования островов постиндустриальной цивилизации в среде отстающих от них стран. Вторая — проблема собственно внутреннего развития постиндустриального социума.

В первом случае суть, говоря кратко, в том, что полная постиндустриализация предполагает «выведение человека из непосредственного процесса производства и постановку над ним в качестве организатора и контролера», т. е. такое положение вещей, когда, с одной стороны, каждому человеку будет предоставлен сложный труд, требующий самостоятельного принятия решений, а с другой — весь примитивный, инструктивный

труд, этого не требующий, будет передан технике и электронике. Частичная постиндустриализация, осуществленная сегодня в ряде экономически ведущих стран, подошла к порогу такой возможности, но через него еще не переступила. Реально, в силу определенных причин, современное мировое производство построено так, что для граждан западных стран уже находится место в сфере сложных видов деятельности, но простые неквалифицированные виды труда передаются как технике, так и жителям стран «третьего мира», а также выходцам из него, приезжающим в развитые страны. Смысл этого разделения в том, что виды труда, оправдывающие высокую оплату, предоставляются своим, не оправдывающие — «чужим».

Это так называемая модель «новой зависимости», деление мира на «страны-фабрики» и «страны-лаборатории», обеспечивающее подпитку ведущих стран оправданно дешевой рабочей силой периферии.

Во многом за счет этого США развивались в последнюю треть XX в., но уже во второй половине 1980-х оказались на грани кризиса. При Клинтоне, после стремительного поглощения ресурсов и экономики стран Восточного блока, США расцвели, но уже в 2000-е гг. стало ясно, что модель себя исчерпывает — нужны новые регионы. Теоретически их было два: исламский мир и Китай. Но попытка взять под контроль первый обернулась хаосом и серией войн, а второй к этому времени именно на внешних капиталовложениях так развился, что стал опережать в производстве саму метрополию. То есть повторилось все то же самое, что когда-то произошло в отношениях со своими рабочими: объект эксплуатации в процессе эксплуатации стал сопоставим по силе со своим эксплуататором.

Американские вложения капиталов и технологий в другие страны стали основой кризиса так до конца не сформировавшейся однополюсной модели. Потому что именно эти капиталовложения создали новые центры силы, претендующие на раздел мира, власти и влияния с метрополией.

Оформился вопрос, на который Трамп с непосредственностью бизнесмена пытался дать ответ: почему американские деньги должны работать на усиление конкурентов США и почему при этом должно развиваться производство в странах конкурентах, но деградировать в США?

Он и дал ответ — деньги США не должны работать на конкурентов.

Одна из основ его электората — рабочий класс Америки. И он хотел дать им работу и бывшее рабоче-аристократическое существование.

Отсюда как естественно-мыслящий капиталист он приходил к выводу:

- американские деньги должны развивать американское производство, т. е. капиталы нужно вернуть в Америку;
- Америка должна возродить свою промышленную мощь;
- не Америка должна покупать продукты промышленного производства других стран, а другие страны должны по возможности покупать продукцию американского производства;
- если сразу этого сделать нельзя, то за право получать прибыль от продажи своих товаров в Америку другие страны должны платить. Платить за свое право получать прибыль от торговли в Америке своей лояльностью. И что можно — покупать не у других стран, а у Америки.

У Америки есть капиталы, есть основа для промышленного доминирования, есть армия, чтобы принуждать особо нелояльных (а если военного потенциала недостаточно, то его обновление и пополнение — это тоже потенциал промышленного развития), и есть возможность перестроить отношения в мире по тому критерию, по которому все и делится: по силе и по капиталу.

Суть второй проблемы и возникающего выбора в том, что именно рассматривается как «постиндустриальная сфера», т. е. сфера, находящаяся за пределами аграрной и индустриальной:

сфера «производства услуг» или сфера «производства знания», понимая под последним и производство знания как такового, и производство технологий, и любой производственной информации в целом, включая знания по производству человеческой личности и воспроизводству человеческого здоровья.

Октябрьская революция в производственно-цивилизационном плане — это революция производственной модернизации. К 1917 г. Россия застряла на этапе перехода из аграрной фазы в фазу индустриальную. К 1913 г. промышленный потенциал России составлял примерно 10 % от потенциала США, в промышленности было занято менее 10 % трудоспособного населения.

Именно поэтому одно из первых стратегических начинаний большевиков — чисто технократическое решение: хрестоматийный План ГОЭЛРО. По сути, в каком-то смысле партия большевиков оказалась единственной в России партией промышленной модернизации, самой технократической партией России. Практически все остальные партии выступали либо за сохранение статус-кво, либо за те или иные, вполне умеренные перераспределительные проекты — проекты перераспределения власти, перераспределения ресурсов, перераспределения полномочий. Кроме большевиков, никто ничего собственно созидательного вообще не предложил (за исключением известного проекта Главного артиллерийского управления с его планом индустриализации, связанного с именем генерала А. Маниковского, который ни царское, ни Временное правительство не заинтересовал).

В этом отношении Октябрь 1917-го — это рубеж форсированного перехода к индустриальному развитию, и, что еще более важно и что проявилось в проекте электрификации, это была претензия на постиндустриальный прорыв, каковым в известной степени является переход от «Века пара» к «Веку электричества». Собственно, в научно-техническом плане это была попытка создания в России производства, в котором «наука превращалась в непосредственную производительную силу». Что

из этого удалось сделать на практике (а удалось многое), а что не удалось — отдельный вопрос. Важно то, что была сделана попытка глобального технического прорыва — и практически первая в истории. Если в 1913 г. объем промышленного производства России составлял 10 % от промпроизводства США, в 1960 г. в СССР он уже составлял 55 %, а в 1985 г. превысил 80 % промышленного производства США.

Отставание не было ликвидировано полностью, но это означало, что, несмотря на все издержки, в среднем за годы Октябрьского проекта индустриальное развитие СССР шло в восемь раз быстрее, чем в Соединенных Штатах.

Проблема завершения перехода к индустриальному обществу к 1917 г. стояла в России. Однако, с одной стороны, она в самой России уже в значительной степени находилась в процессе решения, а с другой — в ведущих странах уже была решена. Наряду с вопросом завершения этого перехода эпоха содержала новую цивилизационную проблему последующего прорыва к «постиндустриальному обществу», в политической форме ставшую борьбой за социальную демократию, социальное государство и политическую организацию постиндустриального, информационного общества.

Сталин достраивает индустриальное общество в социалистическом варианте и создает плацдармы постиндустриального в виде высокотехнологичных наукоемких производств и технократической организации управления.

Победа 1945 г. становится победой порядка, основанного в 1917 г. Откатная фаза теперь может осуществляться только в его рамках. Хрущевский период становится отказом не от него, а от некоторых позиций второй наступательной волны.

В 1960-е гг. в СССР класс работающих по найму, взявший в свои руки собственность и власть после 1917-го, начинает делиться на распоряжающихся ими и на абстрактно обладающих.

К концу 18-летнего правления Брежнева общество устает от господства высшей оргократии. Оргократия хочет целиком

получить доступ к власти, а интелториат готовится к конкуренции с ней.

Это борьба между новыми составляющими старого социального субъекта — пролетариата, победителя первого этапа Революционной эпохи. Завоевав господство, он начал разделяться на производные — интелториат, прототериат и оргократию. Борьба шла за тот же предмет — кто станет историческим преемником прежней победы. Борьба шла под старыми знаменами прежней революции и вокруг смутных ощущений новых интелресов.

Интелториат, в первую очередь интеллигенция и квалифицированные рабочие, лишь смутно ощущая свои нарождающиеся интересы ведущего класса постиндустриального общества, еще не может их сформулировать и ведет борьбу, первоначально апеллируя к логике и идеалам революции 1917 г., первой наступательной фазы.

В 1990-е гг. конвертация бюрократией власти в собственность не решала проблем производства. С одной стороны, этот слой не был заинтересован в переходе в постиндустриальную эпоху, поскольку сам является функцией управления индустриальным производством. Переход к информационному производству шаг за шагом упраздняет эту функцию, реализуя ее другими цивилизационными способами.

Поэтому, во-первых, само производство консервировалось в индустриальной фазе; во-вторых, развитие получали прежде всего добывающие отрасли, центром производства вновь стал ТЭК; в-третьих, экономика оказалась построенной на проедании и перераспределении советского наследства.

Нарождавшиеся постиндустриальные сферы оказались в вторых и третьих ролях и попали под удар экономических реформ. Интелториат, связанный с этим производством, оказался деклассирован либо вынужден заниматься менее квалифицированными видами производственной деятельности, либо выброшен из производственной сферы.

Экономика страны оказалась в цивилизационном плане отброшена в прошлое, был запущен механизм деиндустриализации, социального, экономического и исторического регресса. В первую очередь пострадали именно сферы производства, которые на предыдущем этапе обеспечивали лидерство в мировом производстве.

Истинным вопросом борьбы в нашей стране был вопрос о переходе к постиндустриальному обществу. Для интелториата это общество — единственный вариант его полноценного существования. Для оргократии это общество означало хотя и приемлемый, но не приоритетный вариант. Поскольку его устраивал и старый вариант индустриального социализма, где он оказывался реально господствующим субъектом, и вариант конвертации своей реальной власти в собственность.

Поскольку этот вопрос так и не был осознан, борьба развернулась вокруг вопросов прошлого: капитализм — социализм, частная собственность — общественная собственность, рынок — план. Политически она была направлена против господства высшей оргократии, реально правившей в условиях предыдущей фазы. Поскольку этот слой отождествлялся со старым индустриальным социализмом, борьба против него стала в значительной степени борьбой не против устаревшей индустриальной составляющей социализма, а против социализма как такового.

Слом старой системы был обеспечен силой и энергией интелториата, не осознававшего своих истинных интересов. Но победа досталась конвертировавшей власть в собственность оргократии и активно содействовавшим ей криминально-буржуазным группам. Интелториату же досталась вся тяжесть издержек перехода, утрата социального статуса и роль неопролетариата в необуржуазно-криминальном обществе.

И здесь мы имеем еще одну развилку, о которой шла речь выше, — развилку в понимании и реализации общества полной постиндустриализации.

Первое предполагает вариант «общества услуг», второе — «общества познания и созидания».

О чем идет речь? В первом случае действительно порядка 10 % рабочих рук сосредоточиваются в сфере производства, в индустрии, 1–2 % — в сельском хозяйстве, орудия труда для которого создает эта индустрия, а остальные — в сфере обслуживания: дизайнеры, брокеры, официанты, курьеры, менеджеры, адвокаты, шоумены, журналисты, персонажи «индустрии развлечений» (не имея в виду под последней искусство), и прочее — то есть все те, кто в той или иной форме обслуживает производителей.

Во втором случае также десятая часть работает в промышленности, еще меньшая — в сельском хозяйстве, но добрые 85–90 % создают для двух первых отраслей технологии, осуществляют научный и художественный поиск, создают новое знание и мотивирующие духовные и эстетические образцы, работающие на развитие человеческого стремления к возвышению.

Первый вариант социума в чем-то более прост и комфортен. Но одна из его главных особенностей в том, что производство технологий и знания вынесено за его пределы. Страна, осуществляющая подобный проект, их не производит, а получает извне.

То есть, с одной стороны, она обречена быть несuverенной, поскольку в технологиях зависит от других стран, а следовательно, зависима от них в их требованиях к ее политике. С другой стороны, она должна за эти технологии платить, т. е. расходовать для их приобретения некий экономический ресурс, в результате снижая уровень жизни своего населения, поскольку вместо того, чтобы платить своим ученым и педагогам, она должна платить и чужим, а кроме того, и своим же перечисленным постиндустриальным паразитариям и торговцам.

Когда-то Анри де Сен-Симон делил общество на «работников» и «паразитов», относя к первым как рабочих, так и промышленных капиталистов («людей индустрии»), а ко вторым — банкиров, адвокатов и журналистов («людей пергамента»).

В чем-то, как минимум на метафорическом уровне, подобное разделение сегодня актуализируется.

В подобном варианте страна, избравшая этот путь, отказывается как от независимости, так и от развития, замещая развитие знания и производства развитием комфорта, причем уровень жизни паразитариев заведомо оказывается выше уровня жизни ученых, инженеров, врачей и педагогов, да и всех занятых в производстве. Хлеб в значительной степени заменяется на зрелища, которые тот же производитель оплачивает из своей заведомо сокращенной зарплаты, а труд даже клерка в банке или торговой фирме становится престижнее труда в науке и медицине.

Сегодня Россия не достигла и такого уровня, поскольку она подобные свои расходы минимум на треть покрывает даже не продуктами своего производства, а продажей своих ресурсов, направляя их не на полноценное развитие науки, образования, медицины и культуры, а на оплату своих паразитариев.

Говоря о задачах реиндустриализации России, следует обозначить пласт еще более важных обстоятельств. Индустриализация как таковая, как цивилизационное явление, означает развитие особого типа сознания, мироощущения. **Человек индустриального мира видит окружающее как познаваемое — с одной стороны, и доступное преобразованию — с другой.**

То есть его отношение лишено подчинения трансцендентной детерминированности, и он ощущает свою возможность окружающий его мир изменить, и в то же время оно лишено готовности этот мир изничтожить в рамках создания своей альтернативы существующему. Он твердо ощущает в своем отношении к миру как подвластность этого мира созидательной деятельности человека, так и «неслучайность», обоснованность имеющегося состояния мира, для своего преобразования требующего расширения познания.

Мир индустрии возникает благодаря Миру науки — развитию познания, но он в своем развитии требует и производит новое познание по знакомой в основе формуле:

Мир науки → Мир индустрии → Мир Науки* = феномен Индустриализации, за которым следует

Мир науки* → Мир индустрии* → Мир науки** = феномен Индустриализации* или Реиндустриализации.

Носитель этого типа сознания — человек индустриального мира — создает тем самым основу нового типа Прогресса — Вертикального Прогресса, когда движущей силой его становится не стремление к Насыщению, Развлечению и Комфорту (НРК-Прогресс, или традиционный Прогресс), а стремление к Познанию, Созиданию и Преобразованию (ПСП-Прогресс, или Прогресс Возвышения).

Таким образом, меняется и роль человека в социуме: от роли обреченного на подчинение придатка производства до роли демиурга, субъекта «ре-Творения» мира, а сам человек, существующий в своей двуполюсности физиологического и романтического, сохраняя биологическое начало, преодолевает рубеж ограничения физиологическим, достигая, метафорически говоря, состояния гегелевского единства «в-себе-и-для-себя» абсолютного духа.

В этом отношении Индустриализация* как Реиндустриализация, т. е. процесс расширенного производства и воспроизводства знания о мире и человеческой возможности развивать мир, становится тем звеном в отношениях человека и культуры как «второй природы», благодаря которому мир сам становится элементом человека, но не как довлеющий над ним, а как ему подчиненный и его продолжающий и усиливающий.

Заключение

Анализируя, какие ценности и традиции определяют общественно-политическую жизнь России на современном этапе и каковы и есть ли у россиян предметы национальной гордости, мы приходим, как представляется, к следующему.

Начала, которые соответствовали бы уровню категории ценностей, в силу общей обстановки цивилизационного регресса, с одной стороны, и в силу разрушения ценностных начал, вызванных метаморфозами второй половины 1980-х и 1990-х гг., в прямом виде сегодня в стране не действуют. Однако опосредованно они сохраняют свое влияние через определенные настроения и амаркорды, среди которых нужно выделить: ностальгию по периоду, когда человек ощущал свою значимость как участник глобального социально-политического преобразования мира; стремление к «совершению невероятного»; поиск осмысленности существования мира и своего значения в этом мире; ментальные установки на эгалитаризм, мессианство и радикализм; априорную доброжелательность в отношениях с миром и обществом, способную переходить в жесткое, в том числе и силовое оппонирование обратным тенденциям, — определенное, по разному проявляющееся стремление ощущать и делать свою страну плацдармом открытия истины, которую он несет всему миру.

Особое значение имеют традиции познания и преобразования мира.

Предметом гордости общее самосознание народа рассматривает свою историю и ее свершения в ней, в первую очередь Победу в Великой Отечественной войне, выход в Космос, из современных событий — воссоединение Крыма. При этом события периода перестройки, реформ 1990-х и особенно разрушение СССР воспринимаются как предмет стыда.

Из этого с неизбежностью вытекает постановка проблемы о необходимости или возможности создания особой «национальной идеологии». На эмоциональном уровне понятно

желание дать уверенно положительный ответ, однако на деле все сложнее. Тем более если пытаться определиться с тем, какая это может или должна быть идеология и на каком идейном фундаменте она могла бы базироваться: идеи «особого пути», соборности и др.

Дело в том, что «национальных идеологий», как и «национальных религий», не существует и не может существовать в принципе: политическая идеология носит наднациональный характер, но каждый народ делает свой выбор в рамках существующих мировых идеологий (коммунизм, либерализм, консерватизм, национализм) и их конкретных исторических воплощений, придавая принятым идеологиям конкретное историко-национальное, определяемое реальными задачами, встающими перед данным народом, и особенностями его историко-культурной ментальности.

Не вполне корректно говорить, нуждается ли российское общество в национальной идеологии, поскольку: а) никакое общество без идеологии существовать не может, так как идеология — это не некая искусственно сконструированная доктрина, а совокупность ценностей и целей этого общества; б) реальная идеология существует всегда, даже когда официально это не признается, другой вопрос, соответствует ли официально провозглашаемый курс (цели и установки) элиты настроениям и ожиданиям масс; в) проблемы и противоречия отечественного общества последней трети века как раз и вызваны кардинальным расхождением этих ментальных начал; г) невозможно преобразовать стихийную идеологию общества под утвердившуюся идеологию элиты в случае их расхождения, но отсутствие единства целей и ценностей общества (масс) и элиты ведет страну, оказавшуюся в подобном положении, к исторической гибели. Избежать подобной гибели можно либо при принятии элитой ценностей и целей масс, либо при ротации массами подобной элиты.

И здесь мы сталкиваемся с проблемой определения того, что сегодня, возможно, может лежать в основе российского на-

ционального единства и что могло бы отличить россиян как нацию.

Сама категория «россияне» спорна и вызывает негативное отношение в значительной части общества. Более корректное выражение — «народ России». И нужно признавать реальность — многонациональный народ России воспринимает себя как в основном именно «советский народ», точнее народ, сохранивший, по выражению В. В. Путина, «ядро территории Советского Союза, названного именем Российская Федерация».

Именно это и может определять основу российского национального единства, а именно: сохранение и со временем восстановление в тех или иных формах единства и территориальной целостности страны; сохранение своего национального суверенитета во всех сферах; восстановление разрушенного в 1980–1990-е гг. цивилизационного развития страны и возвращение ей роли лидера мирового развития.

И с политической, и с эмоциональной точки зрения заманчиво было бы дать картину того, как сегодня представляется российское общество через 30 лет и каковы окажутся общественные ценности будущего.

Проблема в том, что будущее, в частности и состояние российского общества через 30 лет, не детерминировано. Оно будет таким, каким само сможет себя сделать. Все в его руках. Если оно сможет наследовать из прошлого капитал, а не сокровища прошлого, то, что образовывало его способность организоваться как субъект миропреобразующей деятельности, осознать и артикулировать мобилизующие общество цели и образы будущего — через 30 лет оно создаст новое производство, в котором человек будет освобожден от монотонных инструктивных функций во всех сферах и получит возможность сосредоточиться на видах работ, требующих самостоятельного творческого принятия решений, а его труд станет способом его творческой самореализации, доставляющий человеку наибольшую радость в жизни. В государственно-политическом плане будет создано

общество всеобщего участия и восстановлена, в том или ином виде, территориальная целостность страны.

Если российское общество этого не сделает — страну, скорее всего, постигнет судьба некогда распавшихся обширных и многонациональных государств. Как единое государство она прекратит свое существование, утратит национальный суверенитет и превратится в подмандатную территорию иных геополитических игроков. Хотя еще более вероятно, что при подобном варианте развития сработает «Закон Синед Роба» — и человечество самоуничтожится в ходе новой мировой войны.

И из этого вытекает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы продолжить свое восхождение в истории, каким должна быть идентичность (образ) России в будущем и вообще какова миссия России и российской нации сегодня и в будущем.

Но миссия страны — это то, что она способна сделать и имеет волю сделать. Без чего ни ее, ни мира не будет. Для России сегодня в мире — это преодоление запущенного в последнюю треть века механизма историко-цивилизационного регресса и социальной энтропии, сохранение цивилизационного потенциала восходящего развития человечества, возвращение страны и мира на путь восходящего прорывного развития.

Миссия «русской нации» — сохранение ядра ее ценностей, восстановление советской нации как лидирующего субъекта мирового развития и сохраняющего восходящее развитие мировой цивилизации. В конечном счете — сохранение мировой цивилизации, ее прогрессивного развития и самой возможности существования земной цивилизации в будущем.

Научное издание

Черняховский Сергей Феликсович

**НАСЛЕДОВАНИЕ БУДУЩЕГО
В ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ XXI СТОЛЕТИЯ**

Дизайн обложки М. Ю. Маяков

Корректурa Т. В. Соболева

Компьютерная верстка О. В. Клюшенкова

Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва
129366, Москва, ул. Космонавтов, 2

E-mail: info@heritage-institute.ru